

АРТЕФАКТ & ДЕТЕКТИВ

Плеть древней богини Гекаты
была призвана усмирять
жадных и жестоких
стигийских псов.

В наши дни она продолжает
существовать, чтобы
противостоять злу...

Екатерина ЛЕСИНА

Плеть темной богини



Екатерина Лесина
Плеть темной богини
Серия «Артефакт-детектив»

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=298502
Плеть темной богини: Эксмо; М.; 2010
ISBN 978-5-699-40488-9*

Аннотация

Верить нельзя никому – об этом Юленьке не раз твердила бабушка. Но она все равно верила, пока лучшая подруга Магда не сообщила, что выходит замуж за Юлиного жениха... Знакомый парень Илья решил вступить за нее и по-мужски поговорить с Михаилом, но того застрелили прямо во время встречи. Подозрение, естественно, пало на Илью. И Юлю... Верить, как оказалось, нельзя было и бабушке, ведь та многое скрывала, пытаясь защитить внучку! Вызванный на помощь адвокат, ее старый знакомый, стал спрашивать Юлю про некую плеть Гекаты, греческой богини Луны. Якобы она существует на самом деле и из поколения в поколение передается членами Юлиной семьи. Убийство означает, что кто-то начал за ней охоту...

Екатерина Лесина

Плеть темной богини

Моей любимой мамочке посвящается

Темно на перекрестье трех дорог, небо низкое, беззвездное, ветер воеет вдали, несет, катит по земле сухие листья. И белеют костяно кресты на старом кладбище. За спиной оно, пялится, буравит мертвыми глазами тех, кто сгинул во веки веков, дабы, повинувшись слову моему, воскреснуть.

Страшно. Страх преодолёю, холод выдержу, и губы занемевшие произнесут первые слова заклатья:

— Геката, Мудрая, прошу твоего благословения.

Подними надо мной Вуаль, чтобы мог я приветствовать духов-помощников, старых и новых друзей из прошлых жизней. Пусть войдут в это священное место только те, кто желает мне добра...

Руки, ставшие вдруг чужими, творят священные символы. И будто бы воздух задрожал, а дрожась эта, просачиваясь сквозь пальцы, расползается по округе. И немо становится, и спокойно, и только угли трещат.

...Геката, твоя сила хороша для смерти и рождения, Испытаний, которым мы подвергаемся снова и снова.

Пусть же во мне не будет страха, ведь я
знаю твою доброту.

Дай мне узнать тайный смысл жизни в смерти.

Из глиняной формы льется воск, не прозрачный, а крас-
но-красавого оттенка, каменеет, земли коснувшись, оседа-
ет слезами. Берусь за второй ковш, не уставая повторять.

Пусть я смогу постичь твои сокровенные Таинства.

Пусть я смогу найти спираль твоего пути.

Пусть я смогу найти истинный Свет,

Ведущий к Внутреннему Пути.

Расплавленная медь шипит и брызжет искрами, фор-
ма тяжелеет, налегает на щипцы, держать становится
неудобно, но я держу. Уже почти, самая малость оста-
лась.

Я смертен, но все-таки бессмертен.

Не существует конца жизни, есть
только новое начало.

Дотягиваюсь до фляги, что висит на поясе, зубами скру-
чиваю крышку и морщусь от едкого запаха крови. Долго при-
шлось искать черную собаку, но справился, и вот теперь,
согласно книге, лью кровь на землю, на вычерченные симво-
лы, и скользкими пальцами касаюсь губ, щек и глаз – пусть
откроются врата, пусть явится та, в руке которой сила...

Пусть отдаст она силу тому, что зреет, остывая, в гли-
няной утробе.

Я появляюсь рядом с Богиней во многих ее ликах.

Поэтому мне нечего бояться.

И я не боюсь, отныне и во веки, ибо нашел я способ оградить себя от того зла, каковое люди творят. И не приблизится ко мне злой и бесчестный, подлый и хитрый, гнилой нутром и дурной помыслами. А коли приблизятся, станут они послушны желаниям моим и будут служить, как псы стигийские служили великой богине.

Открой же мое сознание, сердце и душу

Для Великих таинств, о Геката.

Пусть все слова будут услышаны

По воле моей. И да сотворится!

Снова ветер завыл, грозно и дивно, на многие голоса, а небо ощерилось огненными глазами. И полная луна вдруг выкатилась, ослепила, залила светом все три дороги. А глиняный камень вдруг треснул, выпуская сотворенную мною Плоть.

Я сумел. Я сделал.

На следующий день я слез в горячке, а спустя еще три — умер. Такова была справедливость Гекаты и такова воля ее, чтобы плоть вместе с иным имуществом ушла в мир...

И суждены были миру перемены.

От кого-кого, но от Магды Юленька подобной пакости не ожидала. Нет, конечно, она в принципе не склонна была ожидать пакостей от людей, а потому всякий раз, когда случалась очередная неприятность, удивлялась. И вот

сейчас тоже удивлялась, глядя в каштановые Магдины очи. Да, не карие, не черные, а именно цвета спелых каштанов, где строгая чернота светлела до глянцево-коричневого цвета, а у самого зрачка и вовсе становилась солнечно-желтой.

Магда, она вся такая... необычная.

Стервь, как говаривала Юленькина бабушка, стряхивая пепел с пахитоски в чашку из гжельского фарфора. И нос моришила, отчего на переносице образовывались маленькие вертикальные складочки, в которых тонули выщипанные в нитку бабушкины брови.

А в стервях бабушка толк знала, хотя Юленька и не верила. Вот до последнего не верила. И продолжала любоваться тем, как искажается мир в томных, чуть навывкате, глазах Магды.

– Что? – Магда достала из футляра очки и, повертев в пальчиках, водрузила на кончик носа, окончательно отрезав себя от Юленьки серой стекольной дымкой.

Стало совсем грустно.

– Неужели ты и вправду полагала, что у вас все серьезно? – в уголках Магдиных губ поселилась улыбка. – Милая, ну нельзя же быть такой наивной. Михаил – человек серьезный, уважаемый, интеллигентный.

«Гэ», она произнесла последнее слово через «гэ», и Юленька вновь вспомнила бабушку с ее пахитосками, сеткой для волос и расшитым китайскими драконами халатом.

– Хабалка. Это у нее в крови, – изрекала бабушка, а изо рта ее выползали струйки сизого дыма, – а то, что в крови, так просто не выбить. Держись от нее подальше, пока не сожрала.

Уже сожрала. Юленька именно так себя и ощущала – съели ее, вот взяли и в один глоток съели, а теперь переваривают, медленно, мучительно, продолжая агонию разговора неторопливостью жестов.

Вот Магда поправляет очки – вместе выбирали, и именно Юленька убедила взять эти, узкие, чуть вздернутые к вискам, в отливающей строгим хромом оправе и черным стразом-мушкой на левой линзе. Ей именно эта мушка приглянулась, а еще то, как очки преобразжают Магдино лицо, некрасивое в сущности, костлявое, с тяжелым носом и острым подбородком, с узкими губами и лбом, каковой Магда долго прятала под низкой челкой.

– И... и когда? – Юленька моментально возненавидела себя за этот вопрос. Какая разница когда? На свадьбу не пригласят. Или нет, пригласят, конечно, Магда же не такая, чтобы совсем про Юленьку забыть, она же не нарочно, просто получилось, просто жизнь – она ведь сложная штука...

И Магда влюбилась в Михаила, а он – в Магду. Конечно, она же... она другая, чем была.

– В августе, – не слишком-то охотно отозвалась Магда. – Но я не думаю, что тебе следует... хотя, ты ж у нас человек легкий...

Запиликал мобильник, оставив тираду незаконченной, и Магда, глянув на экран, торопливо поднялась, по привычке кинув:

– Рассчитаешься.

Юленька кивнула. Она всегда рассчитывалась за нее. Почему? Как так получилось?

Они познакомились на первом курсе, в темном коридоре с холодными стенами, на которых виднелись капельки влаги и мелкие трещины. Далеко впереди сквозь огромное, в пол, окно проникал солнечный свет, но он не дотягивался и до середины коридора, вяз в вечном сумраке, лишь слегка его разбавляя. Кроме окна имелись двери в количестве пяти штук: три с одной стороны, две – с другой; лестница, ведущая вниз, и с десятка два первокурсников, замерших в ожидании.

Юленька очень хорошо запомнила это чувство неопределенности, когда пялишься на все двери сразу и гадаешь – которая откроется. Уйти нельзя, потому что бабушка не одобрит побег, а стоять скучно и тяжело.

– Хоть бы стулья поставили, – заявила рыжая девица в зеленом сарафане, пиная стену. – Задолбали.

И трое парней, одинаково подкачанных, одинаково подстриженных и одетых, поспешили согласиться и тоже пнули стену. И громко заржали, когда отвалившийся с потолка кусок штукатурки шлепнулся на голову долговязой девице. Та взвизгнула, отскочила, принялась отряхиваться.

Длинная и нескладная, с растрепанными волосами какого-то неопределенного пегого цвета, чуть более выгоревшими на макушке и темными на концах, в теплом, под горло, свитере и мешковатых джинсах, в круглых совиных очках, девушка была отчаянно некрасива, и рыжая тотчас сделала вывод:

– Дура. Убожище.

– Сама дура, – огрызнулась очкастая, поправляя съехавшие набок очки. Волосы откинула, подбородок выпятила и посмотрела на окружающих сверху вниз, будто это они, и рыжая, и парни-близнецы, и Юленька, были несчастны и достойны сочувствия. – Гэспажа нашлась.

Как она потом с этим своим «гэ» боролась, вытравливая, выкорчевывая, выдирая из себя... но в тот момент «гэспажа» всех и добила.

Кличка к Лядащевой прилипла намертво, вместе с Магдиной ненавистью.

Но это случилось потом, позже, а тогда в коридоре, когда уставшая Юленька уже почти готова была сесть на грязный пол, дверь открылась, и пухлощекая дама в строгом черном костюме велела:

– Заходите по двое.

Стоило ли говорить, что в стихийно возникшей очереди Юленька оказалась последней. А Магда – предпоследней.

– Чего так? – поинтересовалась она, ногой подпихивая грязный рюкзак к стене.

— Ну... просто, — ответила Юленька и неожиданно для себя пожаловалась: — Оно всегда так. Бабушка говорит, что я — слабая.

— И ты, значит, с бабушкой живешь?

— Да. А ты?

— А я сама по себе. Меня Магдой звать.

— Юленька, — Юленька коснулась пальцами бледной, но сухой и горячей Магдиной кожи, легонько сжала ладонь, отметив про себя, что та узкая и красивая. А у самой Юленьки, по бабушкиному мнению, руки простоваты, да еще и с веснушками.

— Слушай... — Магда задрала подбородок и поскребла шею, тоже пожаловавшись: — Чешется, блин. Посмотри, чего тут.

Оттянув горловину, она наклонилась:

— Вот тут.

Юленька послушно посмотрела и, увидев мелкую красную сыпь на бледной коже, расстроилась.

— Раздражение, значит. Блин, — Магда и запястье почесала, задумчиво повторив все то же привязавшееся слово: — Блин.

— А... а ты сними. Свитер сними. Бабушка говорит, что если на вещь аллергия, то нужно от вещи избавляться.

Юленька вздохнула, припомнив, что бабушка вообще очень легко избавлялась от вещей. И от шелкового покрывала с желтым тигром, и от деревянного веера, что раскры-

вался с тихим шелестом, позволяя любоваться сложнейшими узорами, и от лохматой шали с брошью-камеей...

– А одевать я что буду? – возразила Магда.

– Надевать.

– Чего?

– Правильно говорить «надевать».

От Магдиного гнева, вспыхнувшего на бледной коже, на острых скулах и впалых щеках, спасла дверь, которая открылась, выпуская и впуская, наполняя коридор шумом и суетой.

– Ладно, – сказала Магда потом. – Я все-таки сюда учиться приехала. Вот ты меня и будешь учить.

– Я?

Кивок – и косая челка сместилась и снова упала на лоб и скрыла и широкие брови, неестественно темные для этого лица, и розовый, свежий шрам на переносице, и трещину в линзе.

– Ты не думай, Юлька, я – сообразительная. И жить хочу.

– А разве ты не живешь?

Смешок, презрительно изогнувшиеся губы и ответ:

– Пока нет. Но буду...

Она и вправду очень хотела жить, до злости, до истерики, до лютной бледности, когда и без того светлая от природы кожа ее обретала мертвенный оттенок синевы, а глаза, напротив, наливались кровью, свидетельствуя о высшей

степени бешенства. До прокушенной нижней губы и мигреней, когда Магда только и могла, что лежать и пялиться в потолок, до обломанных ногтей и рваных обоев...

Магда ненавидела, когда кто-то или что-то нарушало ее планы.

Магда желала «идти вперед» и шла, когда легко, когда с боями, с кровью, потраченной гордостью, изуродованным самолюбием и все той же жаждой жизни, которая от неудачи к неудаче лишь крепла.

Магда была старше, но не умнее или опытнее, а возможно, в чем-то даже наивнее, однако она быстро избавлялась от подобных недостатков.

— Далеко пойдешь, — сказала бабушка, увидев Магду в первый раз.

— И не представляете, насколько далеко, — ответила та, очертившись улыбкой. Имелась у нее привычка — улыбаться так, что верхняя и нижняя губы выворачивались, обнажая скользковатое нутро, бледно-розовые десны и крупные, ровные зубы, желтоватые, а левый клык и вовсе черный, некрасивый.

Был некрасивый. Устроившись на работу, Магда первым делом поставила протез. А остальные зубы отбелила.

— Смотри, чем выше прыгнешь, тем больше упадешь, — улыбнулась в ответ бабушка, извлекая из серебряного портсигара пахитоску. — А чем дальше, тем сложнее найти до-

рогу назад.

– А мне назад не надо. Я вперед пойду.

– И то верно. Ну проходи, проходи... не стесняйся... хотя... чуть стеснения тебе не помешало бы.

Весь тот вечер Юлька сидела как на иголках, предчувствуя катастрофу, в каковой именно она, Юленька Светлякова, станет единственной жертвой. Так случилось всегда: новая подруга, бабушкино приглашение, ужин или обед, и в итоге снова одиночество.

– И откуда вы приехали? – бабушка отчаянно дымила, стряхивая пепел в одну чашку и потягивая крепкий коктейль из другой. Бабушка глядела на Магду сверху вниз, всем своим видом давая понять, что ей, неуклюжей, костлявой, в очередном бесформенном свитере и тех же, что и в первую с Юлей встречу, джинсах, не место в этом доме.

А Магда скалилась, кивала, отвечала. Дерзила.

– Ниоткуда.

– Стыдитесь родины? Рановато пока. Обычно эта стадия начинается чуть позже, когда происхождение становится не столь явным... К слову, интересно, на что вы рассчитываете здесь? – сухая пергаментная рука на светлом дереве, жесткий манжет и янтарные запонки, дедовы, но деда Юленька не помнит. А вот запонки бабушка носила всегда, и Янина Федоровна, ворчливая, шестидесятишестилетняя и талантливая до гениальности портниха, являясь в дом раз в месяц, тут же, сидя на софе, перешивала блузки

и платья, приспособливая рукав под запонки.

Янина Федоровна курила «Беломор», и пальцы у нее были желтые, точь-в-точь как камни на запонках.

– Я рассчитываю человеком стать, – огрызнулась Магда. Нет, не совсем даже так, она произнесла протяжно, выделяя «вэ», и получилось – «человэ-э-эком».

Бабушка рассмеялась, Магда обиделась, а Юленька на несколько дней осталась без подруги. Как же она обрадовалась, когда Магда передумала, подошла и, присев на край парты, дернула вниз горловину коричневой кофты.

– Старуха у тебя мэрзкая. Я большие в гости не приду.

– Никто не приходит по второму разу, – призналась Юленька, торопливо запихивая косметичку в рюкзачок.

– Ну, понимаю. А ты, подруга, не грузись. Нам старуха не помеха, мы с тобой горы свернем.

Юленька поверила. Равно как поверила и бабушке, когда та вечером, узнав о возвращении Магды неизвестно откуда, сказала:

– Наплачешься ты из-за нее.

Выходит, сбылось предсказание, плакала Юленька. И слезы, скатываясь по лицу, шлепались на белоснежную скатерть и нарядное солнечное блюдо с розовой орхидеей на донце. Точно такой, какие Юленька заказала бы для букета невесты.

А Магда выберет лилии.

Собственно говоря, это не было перекрестком. Просто три дороги сходились в одной точке, и черный пористый асфальт смешивался с мелким гравием и выезженным, окаменевшим грунтом, образуя некое и вовсе неопределимое покрытие, в каковом белые камни тонули в вязкой битумной черноте, и из нее же торчали редкие ости сухой травы.

— Дерьмо, — пробормотал Илья, отступая от трупа. Присел, склонив голову набок, посмотрел, подметив новые детали вроде темных кровавых капель и зеленых мясных мух, которых слетелось, верно, десятка с два. Они вились, наполняя воздух радостным жужжанием, садились на мясо, ползали по костям и взлетали, чтобы тут же сесть чуть левее или правее.

Ну и что с этим делать-то? Оно, конечно, понятно — убрать, закопать где подальше, но потом что? Дело заводить? Из-за собаки? Оно, конечно, жалко животину, но у Ильи и без нее проблем хватает. А с другой стороны, бросить и забыть? Так мало ли, сегодня собака, а завтра вот так и человека разделают.

Илья обошел труп с другой стороны, походя отмечая черный, вывалившийся из пасти язык, задернутые бельмами глаза, слипнувшиеся от крови шерсть на башке и темно-красное, местами прорезанное белизной костей тело.

Шкуру сняли, но сделали это как-то неумело, оставив ошметки на длинных худых лапах, и хвост не тронули, и голову. Рядом, в луже черной, спекшейся, оттого и неотличи-

мой по виду от асфальта крови, валялся тряпичный ошейник, хорошо знакомый Илье, как и песья морда, по-лисьи вытянутая, седоватая на бровях, с поломанным ухом.

— Ну и кто ж тебя так, Свисток? — Илья спрашивал для себя, в надежде звуком голоса отогнать нахлынувшую было жуть. И сам себе отвечал: — Вот сволочи, найду и...

И ничего. Собака же. Не человек. И единственное, чего он сможет, — морду набить... Да и то если найти сумеет, поймет, кому понадобилось убивать черную собаку на перекрестке трех дорог, да еще и шкуру сдирать, седую вполонину, грязную, в репье да засохшей грязи... Кому она такая нужна? И зачем?

Но пока Илья подогнал машину и, открыв багажник, вытащил холщовый мешок.

— Извини, друг. — Илья, преодолевая брезгливость, ухватился за черный, еще не до конца перелинявший хвост, потянул тушу вверх. Закоченевшая, она отдиралась тяжело, точно успела прорасти в эту смесь гравия, битума и каменистого песка, прижиться на перекрестке.

Нехорошее место. И дело нехорошее, воняющее чертовичиной. И гнилью. Жужжащее сине-зелеными мясными мухами да отливающее мертвенной белизной собачьих глаз.

На морду Илья старался не смотреть, виноватым себя чувствовал. Он запаковывал Свистка в мешок, оказавшийся чересчур длинным, но слишком узким, и приходилось запикивать, трясти, материться и сдерживать рвотные позывы.

– Сволочи, какие же сволочи... – Илья повторял слова то громко, то шепотом. И кое-как закрутив тушу в несколько слоев ткани, кинул в багажник, прикрыл брезентом, вытер газетой измазанные руки и все равно долго еще бродил вокруг, приглядываясь к траве на обочине.

Ничего не нашел.

Свистка он похоронил на старой ферме, в ямине, оставшейся от вывернутого бурей тополя, а вечером, наконец, дал себе волю сделать то, чего хотелось давно, – напился.

Но даже в хмельном угаре Илье не давал покоя один-единственный вопрос: зачем кому-то снимать шкуру?

День тянулся бесконечно. Юленька нарочно оттягивала момент возвращения домой, изобретая все новые и новые дела, мелкие и совершенно неважные, не способные отвлечь от боли и пустоты внутри.

А она накапливалась, разрасталась, грозя в любой момент выплеснуться из хрупкого Юленькиного тельца и затопить весь мир.

Нельзя.

И домой нельзя. Одиноко там. Пусто там. Тоскливо.

Вот и приходилось стоять на улице, уставившись на очередную витрину, и старательно улыбаться собственному отражению. А оно милое, и даже очень, со светлыми кудельками волос, с круглыми щечками, которые пылали болезненным румянцем, с мягким подбородочком, пухлыми

губками и курносый носиком.

Вечная юность, мечта нимфоманов и любителей фарфоровых куколок. Так говорила бабушка, а Юленька не обижалась. На бабушку обижаться глупо, ведь в большинстве случаев она оказывается права.

И платье это... сплошное кружево-бантики... а Магда одевается строго, со вкусом. Как выяснилось, у нее очень хороший вкус. Правильный.

— Светлякова! — толкнули в спину, дернули за сумку, хлопнули по плечу. — Ты, что ли? Ну, Юлок, сколько зим? Узнаешь?

Конечно, как не узнать, когда всего месяц назад виделись. Дашка Лядацева ну ни на йоту не изменилась, разве что рыжина волос стала более правильной, стилистически выверенной и перекочевавшей на густые Дашкины кудри из разноцветной коробочки...

— А чего случилось? Ты ревешь? Ну, Светлякова, ты даешь! Я иду, смотрю, стоит. Смотрю — она. Ну думаю, на ловца и зверь... а она ревет. Пошли.

Дашка схватила за руку, потянула, расталкивая редких прохожих. Ей всегда было мало места, мало воздуха, мало поклонения, мало всего, даже Магдиной ненависти.

— Так чего случилось?

Звонкая дробь каблучков по плитке, тени в витринах, жестковатые, почти мужские духи и ярко-красная помада, которая совершенно не идет Лядацевой.

«Вампириша», – сказала бы бабушка, случись ей повстречать Дашку. И предупредила бы, непременно предупредила бы, что от вампиров, даже если они пьют не кровь, а эмоции, нужно держаться подальше. Но подальше не выходило – как вырваться из цепких дружеских объятий? И как сказать, что внутри Юленьки теперь живет пустота, которая вот-вот выплеснется наружу.

Мир утонет.

И рыжая Лядащева. И даже Магда с Михаилом.

– Садись, – Дашка с грохотом отодвинула тяжелый стул. Кафе? Когда они сюда пришли? И что за место? Прежде Юленька не бывала тут, да она вообще мало где бывала.

– Двойной капучино, двойной эспрессо и две «Шоколадных чуда».

– Два, – машинально поправила Юленька. – Если чуда.

– Ты у нас чудо, – Лядащева плюхнула на скатерть ярко-алую торбу и, распахнув, принялась копать в содержимом. – Ну, рассказывай, чего там у вас случилось. Как стержовина поживает?

– Хорошо.

Лучше, чем Юленька. Все живут лучше, чем Юленька.

– Ну кто бы сомневался! – Дашка вытащила помятую, разодранную с одного бока пачку бумажных салфеток и строго велела: – Морду вытри, а то на чучело похожа. Без обид.

Какие обиды. Кажется, Юленька давным-давно разучилась обижаться. А может, с самого рождения необидчивой была. Дефект такой. Одни слепые, другие глухие, третьи необидчивые.

Принесли кофе, пирожные, и Лядащева, устав ждать, снова дернула:

– Так что у вас там? Рассказывай.

И Юлька рассказала. Понимая, что этого не следует делать, что Лядащева, конечно, выслушает с удовольствием, медленно потягивая кофе, расковыривая вилочкой рыхлую плоть «Шоколадного чуда», охая и ахая, а в конце скажет:

– Я всегда знала, что она – та еще тварь, – подтвердила догадку Дашка, облизывая вилочку. – Нет, ну я не понимаю, какого ты с ней возилась?! Ведь ты ж из этого убожища человека сделала! Я как вспомню ее свитера, челку эту... а очки... сова слепая. Нет, Юлок, это уже все! Это уже конец!

– Конец чего?

– Моей веры в человечество! Значит, она у тебя жениха увела, да?

– Да.

Михаил не был женихом, они просто встречались. Часто встречались. И Юленька ждала, нет, она была твердо уверена, что предложение вот-вот последует. Взгляды, выражение его лица, прикосновения, случайные и в то же время многозначительные, голос, который менялся, когда он про-

износил ее имя...

А он сделал предложение Магде. Почему?

— Ну скотинища! — с чувством глубокого удовлетворения произнесла Дашка, пальцем собирая с тарелки жирный крем. — А твой куда смотрел? Променять тебя на это... А ты сама виновата! Наивная... Ладно, Юлок, извини, что я так... это от возмущения.

Ну да, она ведь всегда любила возмущаться, по любому поводу, а порой и без него, сама создавая повод. Она громкая и суетливая, вездесущая и раздражающая. Она — Магдин враг. Или нет, не враг, но помеха на пути.

И Юленька теперь тоже помеха.

— Слушай, так выходит, ты сейчас вообще одна? Ну бабка ж твоя еще в прошлом году, если не ошибаюсь...

— Не ошибаешься.

Какой у Дашки жадный взгляд. Глаза зеленые — это правильно, когда к рыжим волосам зеленые глаза прилагаются; цвет искусственно-яркий, нарочитый, но, как ни странно, натуральный. Во всяком случае, Юленька эти глаза хорошо помнила. А вот выражение подобное видела впервые.

— Бедная ты моя, — Дашка ласково погладила по руке. — Знаешь, что я тебе скажу... тебе надо развеяться! Отвлечься! А вообще — клин клином вышибают!

Теперь сосредоточенная, напряженная — мизинец царапает скатерть, а уголки губ нервно подрагивают, пытаюсь сохранить нарочитую дружелюбность улыбки.

– Сама подумай, станешь теперь киснуть в своем мавзолее... в депрессняк ударишься. Кому оно надо? А я тебе как женщина опытная советую – лучшее средство вылечить самолюбие...

Какое самолюбие? При чем здесь самолюбие? Юльке просто больно. Ее не переваривают – ее варят живьем.

– Ну так он позвонит? – дернула вопросом Лядащева.

– Кто?

– О господи, боже ж ты мой! Илья! Братец мой, о котором я тебе битый час талдычу! Ну ты помнишь Ильку? Он к нам заходил как-то...

Помнила, кажется. А может, и не помнила. Смутный образ, не неприятный, но и не вызывающий желания снова встретиться. Впрочем, в вареной пустоте не осталась места для желаний.

– Он у меня умница, юрфак эмгэушный закончил, только все равно балбес, особенно сейчас. Прикинь, от него год назад жена ушла, так это чудо все бросило, работу, дом, и свалило в деревню участковым пахать. Я ему говорю: ну на фига такое делать? А он мне – отстань. Упрямый. И одинокий, – последнее Лядащева произнесла выразительно, глядя в глаза снизу вверх, так, что чудилось – просит. Упрашивает даже. – Так он позвонит?

– Зачем?

Зачем, зачем, зачем... билось в висках риторическим вопросом.

Зачем они так поступили с ней?

– Затем, Светлякова, что тебе нужно выйти замуж, – Дашка поднялась и, перекинув широкий ремень сумки через плечо, отчего сразу стала похожа на почтальона из военных хроник, добавила: – Срочно. Раньше этой тварюки. Ну все, я побежала, свидимся еще!

Липкое прикосновение губ к щеке, запах шоколада, разбавляющий едкий аромат духов Лядащевой, ободряющее похлопывание по плечу – и снова одиночество, наполненное кукольными отражениями и мыслями о том, что все происходящее, наверное, неправильно, но вот исправить его Юленька не сможет.

Любовь – это ведь навеки. Даже если чужая.

В этом храме всегда тишина, наверное, потому, что он лишь существует в моем воображении, а следовательно, я сам властен над звуками, в нем царящими. Я их стираю, закрашиваю белым, мысленно провожу кистью по шорохам, скрипам, курлыканью голубей, по стуку ставен, даже по звуку собственного дыхания, и каждое движение приносит еще немного тишины.

Да, пусть будет так. Меня утомляет все это... необходимость говорить, необходимость слушать, необходимость вообще делать что-либо, и я не делаю. Я сижу с закрытыми глазами и разглядываю свой храм. Пожалуй, я даже знаю, кто будет обитать в нем.

Странно, да? Строить храм, не выбрав бога, но ведь их столько вокруг... Грозный Яхве и его прообраз – светоносный Осирис, супруг и брат милосердной Изиды, убитый и воскресивший из мертвых, спустившийся в подземелья Нила с тем, чтобы создать страну мертвых и вершить свой суд... Осирис мне более симпатичен, хотя, пожалуй, я знаю, что его не существует.

Как и того, другого, безымянного, которому возносят жертвы миррой и ладаном, колокольным звоном да сухими ветками вербы, запрятанными за икону. Этот смотрит на людей глазами святых, прощая и в то же время предупреждая: я вас!

Этот, самоуверенный, ждет, что именно для него воздвигнут мой храм, но, увы, я не готов отдаться ему настолько, насколько он того жаждет.

Этот бог не оставит мне меня, как не оставил мне Машеньку.

Что ж, к счастью, есть и другие: кошкоглавая Бастет, несущая мир в дом, сокол-Гор, львица-Сехмет с кровавыми клыками и сонным взором... Или не Египет? Допустим, Греция.

Зевс-громовержец? Зевс сладострастный, похититель Европы, соблазнитель Данаи? Зевс-отцеубийца? И с ним в паре царственная Гера? Нет, слишком шумны и беспокойны. Тогда Аид и Персефона? Хозяева мертвых пустошей подземного царства, эти ценят тишину так же, как и я...

Но с ними придут мрак и тлен.

Деметра, Аполлон, Артемида, Гелиос, Гермес... Бесчисленная череда имен и ликов, что заглядывают в приоткрытую дверь и отступают, сами отказываясь от чести быть моим богом. Людям не пристало выбирать, ведь обычно случается наоборот.

И храм мой пуст, и в нем тоска и тишина, и я уже, забыв обо всем, готов кричать, взывая:

— Где же?

Но в храме нету места звукам, я сам их стер. Я сам себя обезбожил.

И заснул, сам не заметив, как это случилось. И как обычно, понял, что сплю, но меж тем храм мой был реален, как никогда: тускло мерцали мраморные плиты, иссеченные узорами, и тянулись к небу колонны, меняясь на глазах, теряя египетскую монументальность в угоду греческой легкости. Порттики и арки, статуи безликие и мутные, словно туман, их окутывавший, пытался защитить их от взора оскорбляющего. Создателю не дозволенно лицезреть наготу создания, он и так знает слишком много.

Я шел вперед, я ступал меж факелов и чаш, в которых клубилось рыжее пламя, я знал, что если получится пройти дальше, к алтарю, я увижу бога своего.

Мне очень нужен бог, я устал от одиночества.

И я почти дошел, когда сзади раздалось рычание. Ненавижу собак, особенно таких: черны и огромны, возвращены вооб-

ражением моим до немыхслимых размеров. Вздрыбленные за-
гривки, оскаленные морды, пылающие алым глаза.

– Прочь пошли! – уже понимая, что не отступят, я си-
лился голосом напугать этих существ, пришедших в мой
храм из иного давно забытого мира. Они были не званы и
опасны, они не собирались уходить, ведь стигийским псам
не ведом страх.

– Прочь!

– Не гони моих слуг, человек, – вдруг раздалось сзади, и я,
позабыв об опасности, обернулся. И упал на колени, и руки
протянул, упоая на милость и защиту у той, что спуска-
лась по ступеням.

Я сразу узнал ее, Гекату Хтонию, Подземную; Гекату
Уранию, Небесную; Гекату Пропилею и Гекату Энодию, бо-
гиню пределов, дорог и перекрестков, для которой нет пре-
град и запретов. Дочь Перса и Астерии, мать Сциллы и Эм-
пузы.

Она не была прекрасна той красотой, которую присва-
ивает богиням молва, – чересчур худоцава, темноволоса и
смуглокожа и отлична от эллинок, коим покровительство-
вала. И она, чудесная, знала об этом, а я, в свою очередь,
неведомым способом знал о знании ее.

– Не причинит тебе вреда моя свита, – сказала Геката,
и, повинувсь голосу ее, стигийские псы легли. – Как и ты не
чинил вреда тем, кто был под заступничеством моим.

А в глазах у нее отблеск того самого пламени, что ныне

величают адским.

– Встань. Подойди.

Я повинуюсь, я счастлив, что могу почтить мою богиню исполнением воли ее. Я приближаюсь, вдыхая аромат кедрового масла и меда. Я вижу каждый завиток ее волос, каждую складку белого хитона, каждый язычок огня на факеле, который она держит.

А во второй – плетъ. Длинная, на жесткой ручке, к которой прикреплена ременная петля, что обвивает тонкое запястье; плетенная хитрым способом, перетянутая медными колечками по всей длине. Плетъ кажется живой, как и волосы Гекаты...

– Не бойся, человек, – улыбается она и, протягивая плетъ свою, говорит: – Возьми.

Беру, и вот уже петля сама обнимает мое запястье, прижимаясь и словно бы прорастая под кожу, а следом приходит понимание, что стая псов отныне послушна мне.

Уже не рычат, не скалятся даже, и шерсть на хребтах опала, они словно бы и уменьшились, превратившись в обыкновенных дворовых собак, разве что чересчур крупных.

– Да, человек, ушел Аид, иссякла в слезах Персефона, издох трехголовый Цербер, ушли в небытие и мертвые герои, и даже великий покорный Хроносу Стикс обмелел. А они выжили, выбрались в мир иной, переступив порог по следу моему, и стали людьми.

Теперь в голосе ее мне слышится печаль, и я готов сердце

вынуть из груди, лишь бы она не огорчалась, но Гекате не нужно сердце.

– Я приглядываю за ними, не позволяя слишком многого, но...

И тут я снова понимаю, что это – сон, всего-навсего сон об опустевшем храме, самовольно занятом той, которую я не звал. Геката – хозяйка ночи, а заснул я днем. Геката покровительствует женищинам, а я – мужчина. Геката никому не отдала бы плоть свою и стаю стигийцев, ведь, кроме нее, с ней никто не управится.

Вернуть и проснуться! Хотя бы проснуться, но... не отпускает забытая богиня.

– Не спеши, человек, скоро я и вправду уйду, вероятно, навсегда. Меня не держит этот мир, ведь люди больше не ставят статуи мои на перекрестках и у порогов, не молят об удаче, покидая дом, не приносят дары...

Мед! Проснувшись, я непременно принесу ей мед в дар, и лук, и...

Я просыпаюсь, как-то резко и вдруг, захлебываясь счастьем и страхом, сжимая в руке подаренную плоть и понимая ужас, что не плоть это вовсе – лишь подлокотник кресла. А на зубах по-прежнему вязкий дым храмовых огней, и ноздри щекочет запах кедрового масла и меда.

Ну конечно, я ведь склянку не закрыл, я сегодня экспериментировал с заживлением ран и маслом, а потом устал, присел в надежде отдохнуть хоть пару минут – и заснул.

Привидится же... Геката... стигийские псы... я бы, пожалуй, понял, случись узреть Гермеса Трисмегиста или же Асклепия – вот уж кому молиться бы, но чтобы сама Безымянная...

– Егор Ильич! – в комнату заглянула Марьянка. – Егор Ильич! Идемте чай пить! С медом!

Вот неугомонная. Марьянка всегда так говорит, восклицая, словно вот-вот ударится в панику, а то и вовсе завизжит, как в тот раз, когда увидела мышь. Она жалостливая и пугливая, готовая по любому поводу разразиться слезами или же радостным, громким смехом, каковой не подобает женщине ее воспитания и положения. А Марьянка о воспитании не думает, ей радостно жить, удивительно...

Таких вот Геката защищает, к таким бы ей являться.

Чай пить пошел. И, сидя за столом, на обычном, почетном месте, исподтишка разглядывал сестер милосердия. Марьянка щебетала, охая, ахая, черпая серебряной ложечкой свежий липовый мед, и облизывая ложечку, и краснея, стесняясь запоздало этой своей детской привычки. Она круглолица и румяна, несколько полновата, и окружающие воспринимают детскую Марьянкину сдобность как признак врожденной доброты.

Не ошибаются.

А вот Софья другая: строга, и даже слишком. Пожалуй, узкое лицо ее с черными широкими бровями малоподвижно, словно лишь одно выражение – раздраженной брезгливости

– способно прижиться на нем. Узкие губы всегда что-то шепчут, чаще всего молитвы, иногда – стихи, я знаю потому, что выпало подслушать. Наши пациентки Софью недолюбливают за холодность, но на самом деле она – заботлива и самоотверженна, как никто иной.

Глаша... Глаша простовата и хамовата, возрасту неопределенного, неряшливая – вон и сейчас волосы из-под чепца выбиваются – и некрасивая, с побитым оспинами лицом, с замыленными, растертыми до воспаленной красноты руками, с пухлой обвисшей грудью и пухлым же животом, из-за которого кажется, что она, Глаша, и не сестра милосердия, а одна из наших пациенток. Но в работе она иная – исполнительная, аккуратная, точно в этом массивном теле находятся два человека, подменяющие друг друга.

Хотя Вецкий полагает, будто бы Глаша обирает пациенток. Не верю. Не потому, что так уж полагаюсь на Глашину честность, скорее вижу, что брать с наших нечего...

– А я, значит, ей и говорю: что ж вы, милочка, недоглядели? А она мне: доктор, а как глядеть было? Занятая я! Занятая! – Вецкий расхохотался, но никто его не поддержал, только Марьянка вспыхнула румянцем, Софья отвернулась, а Глашка недобро хмыкнула, давая понять, что рассказанная история неуместна.

Впрочем, Вецкий поражает умением подбирать совершенно неуместные истории, порой мне чудится, что он это нарочно делает, но опять же мысли сии я держу при себе.

– Ой, Егор Ильич! А вы не кушаете! Кушайте! – Марьянка подвигает ко мне миску с домашним, Глашей принесенным печивом и банку с бело-желтым, ароматным до дурноты медом и крынку с молоком. Софья тут же наливает молока в кружку, а Глаша, укоризненно качая головой, встает. Спустя несколько минут она возвращается с тарелкой, на которой разложены куски отсыревшего, ноздреватого хлеба, белые ломтики сала с тонкой мясной прослойкой и два соленых огурца.

– Нате. Лучшие этого, а чаю и потом.

– Потом остынет, – возражает Софья. – Холодный невкусно.

Не возражаю обоим, но при виде Глашиного натюрморта в животе совершенно неприлично урчит.

– Что, опять поесть забыл? – усмехается Вецкий.

Забыл, всегда забываю, но они напоминают. Храни их Геката.

Илья проснулся от звонка, точнее, он проснулся немного раньше, словно предчувствуя, что трубка разорвется звоном, ударит по натянутым нервам, вытягивая из спасительного забытья, запустит маховик похмелья и жизни, которая почему-то продолжалась, несмотря на неприязнь к ней Ильи.

Он лежал на диване, на покрывале, скинув плед на пол, замерзая и радуясь тому, что замерзает, и понимая, что все-таки придется вставать. Хотя бы к телефону.

А тот, строгий, черный, поблескивал солидным хромом и подмигивал цифрами на узком экране. Да и без цифр все понятно: Дашка звонит. Она сама эту мелодию выбрала, поставила и менять запретила. И пускай. Визг, приправленный завываниями скрипок, басовитым похрюкиванием трубы и дребезжанием медных тарелок, что, соединяясь друг с другом, порождали звук неимоверно отвратный.

– Да? – с трудом разлепив губы, выдал Илья. Он прижимал трубку к уху одной рукой, второй же не глядя шарил по полу, пытаясь нащупать плед. Тот не нащупывался, зато ладонь натолкнулась на что-то продолговатое и скользкое. Бутылка с минералкой?

Это она вовремя.

– Дрыхнешь? – с подозрением поинтересовалась Дашка. – Уже дрыхнешь?

– Нет. Уже не дрыхну.

– Значит, страдаешь. Слушай, Илья, ну сколько можно, а? Ну ушла она, так что теперь, до конца жизни слезы лить? Ты, в конце концов, мужик или как?

– Или как, – эхом отозвался Илья и, зажав бутылку под мышкой, решительно повернул пробку. Зашипело, потекло по пластиковому боку и пальцам, расплываясь темными пятнами на покрывале.

Совсем как собачья кровь.

И кровь собачья, и жизнь такая же.

– Да она, если хочешь знать, с самого начала... – Дашка с

воодушевлением принялась за старое. Нравилось ей обсуждать Аленку, всегда нравилось. Как она выразилась? С самого начала, да?

С самого начала это был обыкновенный курортный роман: случайная встреча на берегу моря, волны, летящие по песку, солнце и девушка в красном купальнике.

– Можно с вами познакомиться?

– Попробуйте.

Как вызов. И еще насмешка в глазах. Надменный носик, аккуратный подбородок, разодранная коленка с желтым квадратом пластыря.

– ...да ты ей нужен был лишь как трамплин...

Она умела прыгать с трамплина. Хрупкая фигурка под самым небом, три шага, полет, когда сердце Ильи обрывалось знакомым страхом, и сине-зеленая гладь раскалывается, поглощая человека.

Они поженились годом позже, в Москве. Сначала ЗАГС, потом венчание. Белое платье с широкой юбкой, искусственный жемчуг на тонкой шейке, острые Аленыны плечики – на правом родинка. А вторая на животе. И третья – на внутренней поверхности бедра. И четвертая, под коленкой, той самой разбитой коленкой, которую Алена некогда прикрывала желтым пятном пластыря.

Илья помнил ее всю, и старые белые шрамы над правой лопаткой – в детстве неудачно скатилась с горки. И чуть кривоватый позвоночник, помешавший ей достичь побед в

большом спорте. И то, как серьезно Алена произносила эти слова, про спорт и победы, а ему хотелось смеяться, столько в них было пафоса.

– ...да она жила с тобой как у Христа за пазухой...

Три года счастья, ослепляющего, оглушающего, бесконечного. Тогда у Ильи и мысли не возникало, что можно жить иначе, все, что было до Алены, он воспринимал как подготовку, ожидание чуда... а после нее приходилось существовать воспоминаниями об этом чуде.

– ...нашла замену, стал не нужен...

Замена. Как в большом спорте. Илья не сумел взять барьер, и его отстранили. Его замена – плотный и потный немец, герр Бахер. Герр Бахер. Так и тянет срифмовать. Три складки под подбородком, над розовой губой двумя полосками бархата усы, рыжие, как Дашкины волосы. И ресницы рыжие – короткие, редкие, а взгляд беспомощный.

Единственное, что в нем беспомощного, – это взгляд. Герр Бахер высок и статен, широкоплеч и широкопал, с повадками сонного медведя и акульей хваткою.

Один укус – и душу выгрыз. Жаль, что не добил.

– ...обобрала как липку, а ты и рад стараться был...

Нет, не рад. Анестезия. Аленино робкое:

– Прости, пожалуйста.

Слеза на загорелой щечке ползет к родинке номер семь, той, которая живет на шее, прячась под гривой гладких темных волос.

Ей не за что просить прощения, она же не виновата, это Илья не справился, не сумел, пошел на замену. И сдал спортивный инвентарь.

– Ви должны понимает, что она иметь право... – говорил герр Бахер, близоруко щурясь, и ладошку поглаживал, Аленину ладошку, на глазах у Ильи.

– Половина имущества по закону принадлежит супруге, – вторили адвокаты. Их было два, один в синем костюме, другой в сером. А больше Илья не запомнил.

Потом Дашка говорила, что отдал он гораздо больше, чем половину, да и ту мог не отдавать, ведь фирму-то он создал до Алены, и квартиру купил тоже до, и вообще она изменила.

Она ушла, и этот факт, короткий и беспощадный, подчеркивал все Дашкины возражения.

Ушла. Бросила. Заменяла. Так стоит ли жалеть о потерянном жилье? Или о том, что вторая половина фирмы ушла за бесценок тому же герру Бахеру? Какая разница.

– Илья! – рывкнула Дашка в трубку. – Ты пил?

– Нет.

– Пил! Ты начал пить из-за этой стервы! Это не выход!

– И не вход.

Не из-за Алены он запил. И вообще один раз – не в счет.

– День вчера отвратным получился, извини, – Илья попробовал сесть на диване, пошевелил головой, с мазохистским наслаждением отмечая наличие головной боли. – Собаку убили.

– О да, – Дашкин голос лучился ехидством. – Какое ужасное преступление. Убили собаку! Ильяха, ты что? Теперь всю жизнь этим заниматься будешь?

Наверное, да. Тем более что жизнь уже была, осталась позади, ушла вместе с Аленой, позарившись на рыжие бархатные усы и беспомощный взгляд.

– Значит, так, сегодня... лучше если ближе к вечеру, ты ей позвонишь.

– Алене?

– Идиот, – выдохнула Дашка, скрипнув чем-то. В кресле сидит, точно, на даче, на веранде, в кресле-качалке, которое еще от бабки осталось. Сидит и раскачивается, прижимает телефонную трубку плечом к уху и перебирает клубнику. На Дашкином животе целая миска стоит, темно-зеленькая, с рисованной же клубничной сбоку. И внутри клубника, розово-бело-зеленая, недоспелая, и буро-красная, с россыпью мелких желтых зернышек. Дашка берет по одной и ногтями отрывает зеленые шапки, которые кидает в стакан. А ягоды – в другую миску. Потом вымоет, посыплет сахаром и зальет молоком. Она всегда только так.

А Алена любит виноград.

– Юльку Светлякову помнишь? Ну я тебе про нее рассказывала, и про подругу ее, которая Магдалена и стерва, – постанывают половицы, и Илье невероятно хочется туда, на бабкину дачу, где ни проблем, ни боли, только солнце, грядки с клубникой и речка в трех шагах.

– Не помню, – дача не вязалась со страданиями, и Илья усилием воли задушил желание.

– Короче, Юлька собиралась замуж, а Магда у нее жениха увела. Прикинь?

Ей, наверное, больно, этой неизвестной Юльке, от которой ушел жених. Илья точно знал – никто никого не уводит, люди уходят сами, к другим людям, оставив третьих, с кем были до того, искалеченными.

– И что?

– И то, Ильюха, что это – твой шанс.

– Какой?

– Ты все-таки идиот, – вздохнула Дашка. – Ну сам посуди, ты что, остаток жизни в этой дыре провести собрался? А возвращаться куда? Ни квартиры, ни работы приличной, ни даже денег, чтоб дело начать. Илья, ты бы сумел снова... Тебе бы только попробовать, отвлечься.

Он не хотел отвлекаться, не сейчас. Сейчас болит голова, и минералка как-то вдруг закончилась. И носки найти надо, и рубашку не слишком мятую, и съездить к Савониным, соврать, что Свистка машина сбила.

– Юлька – идеальный вариант. Характер у нее покладистый, тихий, самое то, чтоб с тобой ужиться. Плюс приданое.

– Чье? – Илья выгреб из-под кровати рубашку, с тоской отметив пару бурых пятен на рукавах. То ли от крови, то ли от кетчупа.

– Юлькино, блаженный ты мой. Ну вспоминай давай, я те-

бе стопудово про нее говорила. Родители – дипломаты, летели и разбились, жила с бабушкой. А та при бабушках, – Дашка хихикнула, довольная каламбуром, и половицы заскрипели чаще. Раскачивается.

– Кресло ломаешь.

– Откуда ты... а, неважно. Не ломаю. Короче, бабушка у Юльки еще та была, не знаю, чего и как, но мозг Светляковой конкретно вынесли. Она сама только и может, что шнурки завязать и сумочку выбрать. Классическая блондинка.

А Алена – шатенка, темная, в рыжину на макушке.

– Короче, существо абсолютно беспомощное, зато живет одна в пятикомнатной, я один раз как-то заскочила, так вообще прифигела. Не хата – музей натуральный! Антикварного барахла – полно! Я уже не говорю про то, что старуха на счетах заныкала.

– Дашка, утомонись.

– Не утомонюсь. Ты послушай, ну чем плохо-то? Женишься на Юлке...

Не хочет он ни на ком жениться. Пусть отстанет, оставит в покое и...

– ...и получишь стартовый капитал. А дальше просто: начнешь работать, глядишь, и всякая дурь из головы выйдет, – с воодушевлением закончила сестра. Нет, не будет она слушать, Дашка никогда никого не слушала, кроме себя и еще, пожалуй, матери. И то потому, что у той говорить выходило громче и быстрее.

– А подруга твоя? Она что, горит желанием замуж выско-
чить?

Больное воображение нарисовала старую деву, унылую, в платочке и длинной мешковатой юбке, из-под которой порой выглядывают бледные лодыжки с синими венами и темными волосками. А тонкие ломкие запястья торчат из широких рукавов вязаной кофты. И лицо у неизвестной Юльки узкое, с гримасой вечного удивления и тоской в глазах.

Алена всегда улыбалась. Даже на суде.

– Юлька? – скрип в трубке прекратился, зато что-то застучало, звонко, металлом о стекло. Чай пьет? Это мысль. Надо чаю сделать, и умыться, и зубы почистить, и побриться, и вообще жизнь продолжается. Илья не желает, а она продолжается. Она, жизнь, вообще дама упрямая.

– Ой, ты ее не знаешь! Она ж... желе. Куда толкнешь, туда и идет. И вообще, Ильюха, если ты не подсуетишься, так мигом желающие найдутся. Странно, что еще не нашлись. Разведут Светлякову, обдерут как липку и вышвырнут на улицу. Будешь тогда виноват!

Про вину это она ради красного словца добавила, но Илья послушно ощутил угрызения совести по поводу печального будущего неизвестной ему Светляковой. Старая дева, прячась от дождя под пластиковым козырьком остановки, тянула тощие лапки, выпрашивая милостыню.

– И вообще, знаешь что, я вот думаю... – Дашка вдруг замолчала, и эта пауза претворяла появление мысли или ре-

шения, от которого Илье не отвертеться. — Я думаю, что эта стерва с нее еще поймет... оно странно, конечно, что вот так... Магда у нас тварь расчетливая, и вдруг бросить... она ж Юльку как живой кошелек, запасной аэродром держала... Илья, пожалуйста, поговори со Светляковой. Ну не хочешь жениться — не женись! Но поговори. Она ж как ребенок, одна не выживет...

— Хорошо, — пообещал Илья и тут же проклял себя за слабость. И тут же простил. Конечно, если бы он не был таким слабым, он бы ни за что не позволил Алене уйти.

За любовь надо бороться. Только вот она всегда побеждает.

И заварка в жестяной коробке, бело-розовой, привезенной из Праги Аленой — часа полтора выбирала среди таких же бело-розовых, одинаковых на первый взгляд банок, — закончилась.

Магда торопилась. Она не любила спешить, потому как в спешке терялась, забывала о необходимости контролировать себя, выпуская из виду то одну, то другую деталь, которые пробивались наружу, разрушая образ, создаваемый годами.

И тогда, из трещин в образе, выглядывало прошлое, то самое, где она второпях собиралась, заталкивая вещи в нутро рюкзака, утапливая коленом, срывая ногти в попытке затянуть молнию, кусая губы, прислушиваясь к звукам за дверью.

Она бежала на вокзал, задыхаясь от ужаса и понимания, что догонят, настигнут, найдут и утянут обратно, в стаю. И по следу ее летели тени, то подпрыгивая, готовясь накрыть с головой, то опадая, разлетаясь под ногами сухой листвой.

Август берег дожди.

А Магда берегла себя и оттого усилием воли затолкала «тогдашние» страхи в отведенный им закуток памяти.

– Сидеть! – скомандовала она и, оглянувшись на витрину, ощерилась. – Лежать! Бояться!

До встречи двадцать минут. Целая треть циферблата и две медленные стрелки, готовые сомкнуться на двенадцати.

Тени исчезают в полдень.

Магда совершенно искренне ненавидела тени. А еще очень хотела жить. И потому, вздернув подбородок, расправив плечи, фыркнув на отражение, мелькнувшее в одной из витрин, она ускорила шаг.

Нет, это еще не бег.

Она успеет. Она всюду успевает. И все делает правильно. И в кафе, грязноватое, пропахшее пережаренным мясом, специями и пивом, она вошла с запасом в три минуты. Впрочем, ее визави уже ждал.

– Привет, – он вяло помахал рукой и, подняв полупустой бокал, вылил остатки пенной жидкости в глотку. Кадык заходил, растянулись морщины и складки, четче проступила щетина.

Отвратителен. Всегда был отвратителен, а теперь особен-

но. Сдал, обрюзг, оплыл, как воск на солнце. Обвисли губы и щеки, налился пивной дряблостью подбородок, кривоватый нос сочился через поры пивным потом, а из вывернутых ноздрей торчали пуки волос.

– Садись. Пиво будешь? – Он хлопнул по скамье и дружелюбно оскалился. А вот зубы сохранились целыми и даже белыми, впрочем, все равно они казались Магде таким частоколом, по-за которым открывался путь в ненасытную глотку. А жрал он много. И не только пиво.

Но Магда села и, преодолевая брезгливость, мягко произнесла:

– Как ты?

– Никак. Тоска зеленая. Я тут с ума схожу...

Давно сошел, в тот момент, когда в его прокуренной, пропитой голове возникла мысль явиться сюда.

– Магдусь, я устал, – он руками закрыл лицо и всхлипнул. – Магдусь, помоги... пожалуйста, помоги мне...

– Конечно, милый, помогу, – она ласково провела рукой по всклокоченным волосам, жирным, слипшимся и изрядно побитым сединой. – Я уже почти договорилась с клиникой. Они тебя вылечат. Они помогут. Потерпи.

– Я терплю.

Разве? Что он знает о терпении? Алкоголик несчастный. Терпеть – это ждать, несмотря и вопреки, подгадывать момент, собирать крупицы информации, сдерживать себя, беречь от срывов, откладывая гнев на потом и зная, что это

потом никогда не наступит.

– Вот и умница, – сказала Магда. – Я знала, что могу на тебя положиться.

Воняет, как же от него воняет. Она отвыкла от смешения запахов: от смрада застарелого пота, дыхания, спирта и тяжелого одеколona, который он по прежней привычке выливал прямо на рубашку.

– Смотри, что я принесла, – Магда достала из сумочки крохотный пакетик. – Одну примешь завтра утром, другую – вечером.

Взгляд у него сразу становится жадным и просящим одновременно, как у собаки, которую подразнили костью, но не дали.

– Это только чтобы продержаться. Понял?

Закивал, затрясся, зашлепал губами, пытаясь что-то сказать, но, не находя слов, протянул сложенные лодочкой руки.

– Обе сразу нельзя, – строго проговорила Магда, протягивая пакетик. – Ты же не хочешь умереть?

О нет, смерти он боялся, пусть и подышал медленно, захлебываясь собственной мерзостью, но при этом не решаясь сделать последний шаг, который бы избавил ее от необходимости таких встреч. С другой стороны, возможно, это и к счастью. Даже столь никчемное существо можно использовать.

– И ты помнишь, о чем я тебя просила? Ты сделал?

– Почти.

– Ты должен был сделать. Все сделать. Как я тебе говорила. Почему ты не сделал?

Именно так с ним и надо, кратко и конкретно.

– Я... я подумал... вчера сделал... а сегодня доделаю. Мне только занести! Коробку занести! Я сегодня же, сейчас же! Я сделаю...

– Если ты не сделаешь, – Магда сунула пакет в заскорузлую ладонь, – я больше не приду. И тогда тебе самому придется зарабатывать и на дозу, и на клинику.

Этого он тоже боялся, пусть поначалу, только-только обьившись в городе, и пытался хорохориться, требовать, шантажировать, но уже тогда был настолько жалок, что Магда не испугалась.

Впрочем, она давно разучилась бояться, в тот вечер, когда уходила от теней на стенах. Тогда стигийские псы потеряли след.

– Сегодня же, – повторила она, поднимаясь.

Закивал, подорвался было идти следом, но плюхнулся на лавку, обнял пустой бокал и, глянув с прежнею тоской, протянул:

– А денег? Дай, пожалуйста, денег... мне очень надо... спасибо. Я люблю тебя, Магда. Ты... ты могла бы прийти ко мне тогда! Я бы помог, честно, помог...

Ложь, и они оба это знают.

Юленька открыла глаза, удивляясь тому, что совсем не хо-

чется спать. И ночью не хотелось. Она вообще надолго растянулась, эта самая ночь. Юленька лежала в постели, закрыв глаза, уговаривая себя, что еще немного, через две овечки, она, наконец, получит спасительную передышку.

Сон – это когда не больно и не пусто. Когда не нужно думать о Михаиле, и Магде, и вообще о чем бы то ни было, ведь все мысли искажаются в сюрреалистическом пространстве раскрывшегося разума. Юленьке нравились ее сны, иногда молочно-шоколадные, пронизанные карамельными нитями эмоций; иногда безотчетные, неразличимые в деталях, стремительные и яркие; иногда медленные, тягучие, как нуга, расплзающаяся по поверхности печенья.

Ей нравилось вспоминать, выискивать детали и оценивать, толковать, зачастую выдумывая желаемые значения.

А сегодня сна не было. Точнее, может статья, он и случился, легкий обморок-забытье, когда исчез назойливый стук часов, беспричинное поскрипывание половиц и редкие, глухие шлепки листьев по стеклу. Клен нужно бы подрезать, а то и вовсе срубить, как Никита Савельич уговаривал, предлагая собственные услуги, но Анна Егоровна из тридцать третьей квартиры протестовала и грозилась ЖЭКом и управлением... Днем Юленька соглашалась с ней, а ночью, оставаясь одна, жалела о согласии и мысленно подталкивала Никиту Савельича к преступлению.

Листья касались стекла, лаская; ветки же драли, скрежещали и под ветер стучали так, что Юленьке казалось: еще

немного – и окно разлетится вдребезги.

Сегодня ночью плевать было на клен, и на скрип, и на часы, приросшие к малахитовой полке. Сегодня ночью овцы послушно прыгали через забор и падали в пустоту по другую его сторону. А потом зазвенел будильник. Ненужный в принципе – Юленьке некуда спешить, – но заведенный по привычке, что остались еще со школьных времен, сейчас он был как нельзя более кстати.

– Кто рано встает, тому бог дает, – любила повторять бабушка. Сама она вставала затемно и бродила по квартире, кутаясь в цветастый халат, накинутый поверх батистовой рубашки. Вытертые подошвы шлепанец ее, восточных, расшитых золотом, но ветхих, сухо шелестели по паркету, а широкие рукава, вытертые до сальноватого блеска, скользили по мебели беззвучно.

Сколько Юленька себя помнила, в этой квартире, огромной, порой пугающе огромной, жили трое: она, бабушка и бабушкина экономка Зоя Павловна. Иногда только, под Новый год или на майские праздники, появлялись родители, но их визиты, прочно ассоциировавшиеся с шумом, подарками и постоянной необходимостью «соответствовать», она переносила терпеливо. И даже радовалась, когда родители, оставив ворох вещей, каковые бабушка презрительно именovala «барахлом», исчезали, а жизнь возвращалась в прежнюю колею.

Утро, солнце, пробивающееся сквозь щель в портьерах,

белые лужицы тепла на досках паркета – можно, перепрыгивая с одной на другую, касаясь босыми ногами горячего пола, добраться до самого порога. Дотянуться до ручки – толстая русалка с отполированным до блеска хвостом и зеленоватыми волосами – и выбраться в коридор. Сумрак. Запах табака, иногда сильный, резкий, иногда, после ежемесячных уборок, устраиваемых Зоей Павловной, почти неощутимый. Узкие полосы света, касающиеся ковра и растворяющиеся в темно-синем пыльном ворсе. Сколько его ни выбивали, и на турниках во дворе, и на снегу, оставляя после черные прямоугольники-раны; сколько ни пылесосили, сколько ни терли жесткими щетками из свиной щетины, ковер упрямо берег пыль. Как и книжные полки вдоль стен. А на полках – тяжелые тома в нарядных переплетах и низко, у самого пола, связки газет. При каждой уборке Зоя Павловна заводила разговор, что хорошо бы газеты на антресоли убрать, а бабушка возражала.

Кроме книг на полках стояли вазочки и чашки, фигурки из стекла и фарфора и нарядные куклы в роскошных платьях, каковые, впрочем, не вызывали у Юленьки желания поиграть. Скорее наоборот, они были вызывающе строги и невозможно прекрасны и взирали на маленькую Юленьку сверху вниз, с удивлением и неодобрением особенно, когда она решалась вытащить в коридор пластмассовую Машку в самосшитом наряде. Или желтый мяч. Или потрепанного кудлатого пса, какового бабушка однажды велела выкинуть,

а Юленька потом долго плакала, но так и не решилась сходить на помойку.

И теперь она не решится позвонить Михаилу. Будет сидеть, смотреть на телефон, порой касаясь глянцевой поверхности кончиками пальцев, трогая тугий диск, нащупывая медные циферки в оконцах, прикладывая к уху тонкую, перетянутую двумя медными же кольцами трубку.

Телефон старый, он шумит и кряхтит, то замолкая растерянно, то стреляя в ухо шумом волн. Нужно было поменять, но бабушка всегда противилась.

– Придут, увидят и ограбят, – ответила она Зое Павловне, когда та заикнулась про телефонного мастера, которого можно вызвать по знакомству и совсем недорого, а он бы за вечер новый аппарат поставил.

– Да кто тебя ограбит! – Зоя Павловна от возмущения руками всплеснула. – Кому ты нужна!

– Нужна, нужна... всем нужна... а мастер твой наводчиком окажется. Вот увидишь, сейчас так делают, ходят по квартирам, высматривают да вынюхивают, а потом информацию сдают.

– Куда?

– Куда надо.

Кажется, они тогда поругались, впрочем, бабушка и Зоя Павловна часто ругались, находя в этом какое-то извращенное в Юленькином понимании удовольствие, затягивая споры порой на месяцы, а то и годы и радуясь, когда удавалось

одержать верх.

И снова было странно: победителем выходила либо бабушка, либо Зоя Павловна, а радовались вместе, устраивали чаепитие с бостонским сервизом и клюквенным вареньем из серебряной креманки, с гаданием на картах Таро, старых, замусоленных и вечно предсказывавших скорые перемены...

Какие перемены?

Михаил переменялся к Юленьке. А позвонить, спросить, почему вышло так, смелости не хватает. Остается только воспоминания перебирать.

Но и этому помешал звонок. Протяжный, нервный, сложенный из точек и тире, словно тот, кто прятался за дверью, желал предупредить Юленьку.

– Кто там? – Она, прильнув к дверному глазку, попыталась разглядеть хоть что-нибудь, но на лестничной площадке царил привычный сумрак, в котором черной тенью выделялся старый шкаф, вынесенный из квартиры Ниной Михайловной, но так и не донесенный до помойки. Шкаф стоял вдоль стены, загораживая пространство.

– Кто там? – Юленька, поколебавшись, приоткрыла дверь. Натянулась желтая цепочка, готовясь защитить, если тот, кто прятался с другой стороны, задумал недоброе, но... тихо и пусто. И нет никого.

Дверь наткнулась на что-то тяжелое, объемное, поехавшее по полу с громким шелестом.

Коробка? Картонная коробка из-под принтера, замотан-

ная серым скотчем, украшенная корявым розовым бантом, что съехал на угол и висел грязноватой ленточкой.

Странная коробка. Опасная коробка.

Бабушка не уставала повторять, что странные вещи без-опасными не бывают, и верно, в другое время Юленька при-слушалась бы, но сейчас внутри у нее было пусто, и слабая вспышка любопытства хоть как-то заполнила эту пустоту.

Она наклонилась, провела по поверхности ладонями, ощущая гляцевую гладкость картона, выбитые буквы, ред-кие царапины, из которых торчали мягкие бумажные нити, жесткий и липкий скотч. Подняла. Весила коробка не так чтобы много, но ощущалось – определенно не пустая.

Добычу Юленька отнесла на кухню и решительно водру-зила на стол, прямо на белоснежную, накрахмаленную до ломкости скатерть, на кружевные, Зоей Павловной вязанные салфетки и на газету... газету Михаил оставил на прошлой неделе, когда забежал на чашку кофе.

Забегал и сидел, пил, рассказывал о работе и перспекти-вах, о том, что экономическая ситуация в стране нестабиль-на и цены на нефть падают, а строительный рынок пережи-вает кризис. Пил и глядел на Юленьку с насмешкой, пони-мая, что она ничего не понимает. Пил и собирался жениться на Магде. И ушел, ничего не сказав об этом действительно важном решении. Только вот газету забыл.

– Ненадежный он тип, – сказала бы бабушка. – Решитель-но ненадежный. И это даже хорошо...

Плохо. Сейчас Юленьке было очень-очень плохо. И в кои-то веки фарфоровые куклы на полках шкафа смотрели не с презрением, а с сочувствием.

Достав из ящика садовые ножницы, купленные когда-то Зоей Павловной для дачи, но так на дачу и не отвезенные, Юленька решительно вспорола скотч.

Внутри находилась солома, самая обыкновенная, золотистая и колючая, моментально впившаяся в руки мелкими занозами. Под соломой прятался пакет, тоже обыкновенный, тонкий, в каких выносят мусор на помойку, а уже в пакете, просматриваемое сквозь полупрозрачные стенки его, лежало что-то и мягкое, и жесткое, сверху рыхлое, но в то же время жесткое.

Юленька, перевернув пакет, решительно вытряхнула содержимое на стол.

Черный мех. Грязный черный мех, в котором застряли колючие шары репейника, солома, катышки грязи... черный мех с изрядной сединой и проплешинами... черный мех с черно-бурой лужицей, растекавшейся с обратной стороны.

На столе, пропитывая хрусткую крахмальную белизну скатерти чем-то гниловато-отвратительным, едко пахнущим тухлятиной, лежала шкура. Кажется, собачья.

Юленька, сдавленно всхлипнув, потеряла сознание.

Некоторое время, пожалуй, до самого Рождества почти, не происходило ровным счетом ничего отличного от обык-

новенной моей жизни. Не мучили ни сны, ни кошмары, и даже привычное, зародившееся еще в бытность мою студентом томительное чувство несовершенства своего отпустило.

Скажу больше, я словно бы перешел в иное, благостное существование, непостижимым образом отделившись и от грязи, и от боли, и от страданий человеческих, чаща которых копилась день ото дня. И виновата в том была война, затянувшаяся, никому не нужная война, как-то в одночасье охватившая весь мир. Война была далеко, она обитала в письмах и газетах, взывая ариинными заголовками побед и крохотной вязью поражений. Она ютилась в подворотнях, шепотом, сплетнями, что передавали друг другу, пробиралась в палаты больницы, вызывая приступы истеричных рыданий и обреченное, тупое безразличие.

Наши пациентки тоже воевали. Пусть они и находились за многие мили от линии фронта, но, привязанные к оному тонкими нитями любви, мучились верой и надеждой, страхом за близких.

– Холодно нынче... – Вецкий поднял воротник каракулевого пальто, дыхнул белым живым паром и, хлопнув себя по бокам, заявил: – Что-то вы, Егор Ильич, совсем здесь обжились-то...

Хитро блеснул черный цыганский глаз, приподнялась и опустилась бровь, изогнулись в улыбке губы, и худощавое, аристократически-правильные черты лица изменились, сде-

лав Вецкого неуловимо похожим на... собаку? Ну да, собаку, породистую, дорогую, но меж тем премерзостного характера, каковой дозволяется укусить всякого, хоть бы и хозяина.

— Но о вас, Егор Ильич, поговаривают.

— И что же поговаривают? — Я огляделся, кивнул матушке Серафиме, спешившей во двор с корзиной грязного белья.

— А всякое... одни полагают, будто вы у нас за святого, — Вецкий достал из кармана портсигар и, открыв, предложил мне. Я не устоял, принял подношение, уж больно хорош табак был у стервеца. — Другие думают, что вы — блаженный, ну это у нашего народишки на одной скамье со святостью стоит. Третьи...

Выразительно замолчал, прикусывая кончик папиросы белыми крупными зубами.

— Третьи шепчутся, что вы за бабскими юбками от войны скрываетесь, что на фронте-то пользы от умелого врача всяк большие, чем в тылу, в лечебнице для шлюх.

Мимо, тяжело переваливаясь, подволакивая ноги, замотанные в грязное тряпье, прошли две Серафимины подопечные, уродливые в своей преждевременной старости, в болезнях, кои у прочих пациентов вызывали лишь страх и омерзение. Да и не только у пациентов.

— Нет, вы не думайте, что я вас осуждаю, — меж тем продолжил Вецкий. — С моей стороны сие было бы неоправданнейшей глупостью, ведь я сам, Егор Ильич, я сам нахо-

жусь в той же ситуации...

А может, и вправду на фронт надо было? Ведь предлагали же, нет, не принуждали, хотя, верно, и такое могло случиться, но как бы то ни было – мне дали право выбирать, и я выбрал.

Что выбрал? Частный госпиталь при женском монастыре? Убежище для шлюх, нищенок, деревенских баб, каковые дичатся да норовят сбежать? Ангел падиших, алкоголиков и безумцев? Всех тех, кого христианское милосердие велит любить?

Но я не христианин!

– Я к вам пришел, дабы просто... поделиться... так сказать... спросить... почему?

Да как ответить, когда и сам не знаю, когда иду не по правилам, не по правильности, а против. Нет, я не трус. Мне случалось работать и в прифронтовых госпиталях, которые тонут в грязи и стопах, распространяя характерный мерзковатый душок гнилой плоти, спирта и взопревших человеческих тел. Я работал там, я спасал и вытаскивал, резал, пилил, зашивал, успокаивал, утешал, врал в глаза, хоть бы и ложь эта была видна да понятна всем. Я читал молитвы над отходящими и стоял на краю могил, пусть и присутствие мое было не обязательно.

Кажется, именно там, в госпиталях, я начал терять веру. А потом ушла Машенька...

– Вы понимаете, Егор Ильич, – Вецкий схватил меня за

руку, сжал так, что я сквозь рубашку и поддевшую под стюртук кофту, грязно-белую, из овечьей шерсти вязанную, сквозь плотную костюмную ткань и тонкую – халата, почувствовал его пальцы. – Понимаете, что это – неправильно-но? Что они... кто они такие? Оглянитесь!

Огляделся. Все как обычно, мы стоим во дворике, под дощатым навесом, на котором виднеются горбики слежавшегося снега, а по бокам свисают прозрачные хвосты сосулек, частью сколотых дворником. Сам дворик невелик, слева он упирается в черную стену старого коровника, в котором нынче прачечная и погреба, где хранят картошку, свеклу, капусту. Там же и поленница, и кухня... Покатая крыша, трубы, из которых нет-нет да выкатываются сизоватые, волглые клубы пара.

С другой стороны дворик оканчивается стеной старого монастыря, сложенной из крупного некрасивого камня, заросшего мхом и лишайником, сырого, по зиме блестящего ледяною коркой, а по весне и лету – вечно мокрого, будто взопревшего. Внутри сама больница: два этажа, низкие потолки и крохотные оконца, сквозь которые внутрь проникает слабый свет, каморки-кельи, в каковых живут пациенты, общая трапезная, осененная крестом...

– Вот она! Она, посмотрите на нее, сколько ей лет? Пятнадцать?

Двенадцать, ну, может, тринадцать, но выглядит старше, и виной тому не фигура, уже вполне женская, женствен-

но-округлая, а усталость в глазах. И обреченность, и понимание, что жизнь так и пройдет между улицей, комнатами в наем и скрипучей койкой да больницей.

Я не разговаривал с нею, худощавой девочкой-женщиной в сером платке, что кормила птицу, прижимая сито с зерном к круглому, неестественно большому для такого тела животу.

— Кого она родит? Еще одного нищего? Побирuhiку? Вора? Разбойника? Родит и бросит, благо есть на кого... а сама вернется в ту грязь, из которой выползла, — лихорадочный шепот Вецкого, выпавшая папироса, которую внезапно становится очень и очень жаль — хороший ведь табак, почему зря тратить? — Там вы могли бы спасти тех, кто действительно нужен... важен...

Одноногих, одноруких, одноглазых, негодных к тому, чтобы быть принесенными в жертву Аресу-Марсу. Или других, которые, стоило затянуться ранам, возвращались на поле брани. Нет, не прав Вецкий, именно там, в полевом госпитале, я пришел к мысли, что усилия мои бесполезны, более того, именно они помогают функционировать самому механизму войны, продляя агонию, наделяя тех, кому единожды повезло, иллюзией собственной неуязвимости.

А здесь и сейчас я и вправду спасал, что-то менял, кому-то давал надежду.

— А вы, Иннокентий Николаевич, зачем вы здесь? — я задал вопрос, чтобы отвлечься от этого дурного шепота. И

взгляд перевел с копошащейся, суетливой птичьей стаи на лицо Вецкого, в глаза его, в кои-то веки не спрятанные за очками.

Нормальные глаза, человечьи, радужка не то светло-голубая, не то серая, темнеющая к краю. На левом плавает желтое пятнышко катаракты, пока крохотное, но грозящее в будущем серьезными проблемами. Вецкий о них знает, Вецкий бережется.

– А я не сюда пришел, не в место это, я к вам шел, Егор Ильич! К вам, понимаете? Я учиться хотел!

– Учитесь.

– Учусь. Гнойники вскрывать. Зубы драть и роды принимать! – Он сплюнул под ноги и наступил, раздавливая сапогом и слюну, и папиросу. Жаль-то табака... я свою до вечера поберегу. А то и до завтра. Да, именно, я выкурю ее завтра.

– Уедемте, Егор Ильич! Молю вас! Вы же – звезда, талант, легенда живая! Да стоит вам захотеть... вернетесь в Петербург. Или в Москву? В Петербурге-то сейчас неспокойно, говорят. Не хотите на фронт? Это я понять в состоянии, не в вашем возрасте в эту, прости господи, грязь... но любая клиника... да что там клиника, частная практика! К вам люди пойдут, настоящие люди, а не это отребье! Да вы благодаря вашему таланту...

Хлопнула дверь в коровнике, и матушка Серафима вывела во двор одну из новеньких своих подопечных – косматую, горбатую старуху. Вывела, махнула рукой беременной, под-

зывая, и принялась что-то втолковывать.

Матушка Серафима с нашими-то строга, но это больше с виду – женщина она от природы крупнотелая, с красным, точно распаренным лицом, на котором главенствовали горбатый нос и тяжелый квадратный подбородок с темными волосками. И голосом матушка обладала зычным, командирским. А норовом кипучим, но отходчивым.

– Посмотрите на них! Одни блаженные других блаженным вразумляют... бесполезные людишки, чего на них тратить? Пусть бы жили, как есть... Уедемте, Егор Ильич! Завтра же бричку пригоню и с ветерком... вы не подумайте, у меня деньги есть, помогу на первых порах, я ж понимаю, что вы, с позволения сказать, характеру бессребренического. Вон, матушка пожалуется на то, что денег нет, вы за дарма и работаете... за похлебку.

А еще за надежду, правда, пожалуй, я сам не знал, на что надеялся, пусть был храм мой, обезбожен. Пусть был и я.

– Не считите, что претендую... нет, на долю в доходах от клиники – естественно, но мы люди деловые, сумеем договориться. Плюс работать собираюсь, вы же видите, я – врач хороший...

Только злой, очерствелый.

Матушка Серафима исчезла в коровнике, а беременная, взяв под руку старуху, потянула ее к птицам. Кормить будут. И правильно, людям надо о ком-то заботиться, пусть бы и о курах, лишь бы не одиночество, лишь бы не пусто-

та...

– Спасибо, Иннокентий Николаевич, за предложение и за табак, только я уж как-то привык тут.

Вецкий хмыкнул и, вынув из кармана портсигар, протянул:

– Забирайте, чего уж тут. Я все равно не курю.

– А вот за это и вправду спасибо.

Тут я был совершенно искренен.

– Да кому он помешал-то? Кому? – старуха спрашивала громко, требовательно, и голос ее сливался в один сплошной визг.

– Я ж его щеночком! Вот такехоньким! – Желтая ладошка приподнялась сантиметров на десять, сравнившись со стопкой бумаг. – Сама выхаживала, выпаивала, лечила! Он же ласковый и добрый был, а что брехал, ну так собака же, что ей, молчать?

Илья кивнул, надеясь, что вид в должной мере выражает сочувствие. А он и вправду сочувствовал, но больше себе, предаваясь жалости с мазохистским удовольствием, выискивая все новые и новые поводы для того, чтоб не исполнять данное Дашке обещание.

Ему плохо и больно. И сушит. И вообще его бросили. Как собаку... Хотя нет, собак не бросают, собак подбирают и приносят домой, выпаивают и лечат, а потом, когда те сбегают по своей собачьей надобности, хозяева требуют ответа. И

плевать им, что Илья понятия не имеет, куда мог подеваться брехливый пуделек, не нужный никому, кроме старухи Выхиной.

– Найди, – вдруг разом помягчела та, глядя с выражением растерянным и жалким. – Я заплачу, я не за так... найди только.

– Найду, – дал очередное невыполнимое обещание Илья и, устыдившись, поправился: – Если получится.

Старуха ушла, некоторое время топталась на пороге, оправляя лохмотья юбок, надетых одна на другую, одергивая вязаную кофту с нашитым по воротнику мехом, засовывая под косынку выбившиеся пряди. Она явно хотела что-то сказать, да не решалась, а Илья боялся, что все-таки скажет, и ему снова станет стыдно, совестно и еще хуже, чем сейчас.

Но нет, ушла, аккуратно прикрыв дверь и оставив наедине с привычной тишиной кабинета.

Жужжала муха, перелетая с грязного стекла на не менее грязную занавеску, которую по-хорошему давно следовало бы снять и постирать или просто снять, чтоб не мозолила глаза своим видом. Муха ползала по шкафу и столу, подбираясь к бумажным горам, напоминая, что хорошо бы обратиться на них, на горы, внимание и заняться делом... муха садилась на старенький монитор и глядела на Илью выпученными блестящими глазами, словно ждала, когда же он, выведенный из равновесия жужжанием, потянется к мухобойке.

Когда хоть что-нибудь сделает.

Илья отвернулся от мухи к стене, к плакату, на котором блестел синевой круглый бассейн, поднималась стрела-вышка, уходя в синее-пресинее небо, и единственным ярким пятном выделялся оранжевый купальник на девушке, что замерла на самом краю пропасти, готовясь нырнуть...

У Алены купальник был черный, строгий.

Илья решительно поднялся, схватился за голову, уговаривая ту погодить с болью, и вышел из кабинета. Пудель пуделем, искать собак он не обязан, но имелось у него нехорошее подозрение, что с черным, брехливым, надоедливym Леонардом случилось то же самое, что и со Свистком.

Подозрения оправдались, вернее, почти оправдались: Леонард нашелся на перекрестье трех дорог, на обочине, в изрядно истоптанных зарослях крапивы. Снова воняло кровью, снова кружили мухи, гудели в яблоне-дичке шмели да пчелы, снова собаку разделади.

Правда, шкуру на сей раз снимать не стали – отсекали голову.

– Сволочи, – сказал Илья, доставая из багажника загодя спрятанный мешок. И подумал, что уж точно не поверит в машину, сбившую Леонарда. А тело показывать нельзя – хозяйка устроит истерику.

– Будешь числиться в без вести пропавших, – Илья подхватил тело за заднюю лапу. – Извини.

Трупик он закопал там же, на старой ферме. А про себя постановил, что нынче же ночью устроит засаду на этого по-

трошителя собак. Какое-никакое, а развлечение.

— И ради этого ты меня вызвала? — Михаил глядел на сверток, выпятив нижнюю губу, так он делал всегда, когда стеснялся с чем-то неприятным или непонятным. — У меня была назначена встреча. Важная встреча.

— Прости... — Юленька в отличие от него в сторону стола старалась не смотреть. Ее знобило от страха и отвращения, от осознания того, что кто-то мог быть настолько жесток... Почему? Из-за чего? Кому она перешла дорогу?

Магде?

Но ведь все наоборот! Магда победила! Магда с Михаилом и останется счастлива, а Юленькин удел — грязь, кровь и собачья шкура.

Про то, что шкура собачья, сказал Михаил. Он приехал сразу или почти сразу и с порога сказал, что не позволит себя шантажировать и с ходу желает расставить акценты.

Центы-центы-доллары, в китайской вазе, вперемешку с пенни, еними, драхмами, пиастрами... целая коллекция, которую можно высыпать на ковер и бесконечно разглядывать, всматриваясь в лица на монетах, разные и одинаково напыщенные.

Михаил хорошо бы на них смотрелся. У него резкая линия подбородка, дисгармонирующая с пухлыми щеками, и римский нос с горбинкой. У него ровные, сходящиеся над переносицей брови и черные усики, лихо завивающиеся

вверх.

– Юлия, я понимаю, что мой поступок мог показаться тебе оскорбительным. И осознаю, что ты, вероятно, ощущаешь себя обиженной. Незаслуженно обиженной, – он поднял палец вверх и на мгновение задержал взгляд на широком ободке кольца.

Фамильный перстень графа Сухомятского, человека в высшей степени достойного – иных предков у Михаила и быть не могло. Перстень он любил, родословное древо, исполненное по специальному заказу, тоже, и не единожды повторял, что на его плечах лежит груз ответственности.

– Несомненно, мне следовало самому поставить тебя в известность о произошедшем, это избавило бы нас от необходимости встречаться снова...

Ну да, он больше не желает встречаться. Видеть ее. Обнимать... у него очень солидные объятия, с жесткими складками накрахмаленной ткани, с тяжелым запахом туалетной воды, непременно французской, непременно с клеймом старого и достойного дома, с щекотным прикосновением усов к щеке...

– С прискорбием замечая, что поведение твое еще более безответственно, чем я мог бы предположить.

Что она сделала? Только позвонила... попросила приехать. Плакала, кажется. Но ведь было страшно и очень противно, и на столе исходила вонюю подброшенная шкура.

– ...идти на такой шаг... даже от тебя не ожидал подобно-

го! – Михаил приложил сложенные щепотью пальцы к носу и глубоко вдохнул.

– Чего не ожидал?

– Ничего! Ты с самого начала была такой... несерьезной. Безответственной. Не способной на глубокое чувство.

А говорил, что любит. Цветы дарил. Двенадцать алых роз, крупных, с сухими, почерневшими по краю лепестками, и тринадцатую, в центре, снежно-белую. Букеты по понедельникам, ужины по вторникам, в среду непременно выход в свет. Четверг свободен. А пятница...

– Мне казалось, я ясно дал тебе понять, что рассчитывать на нечто большее...

По пятницам Юлька встречалась с Магдой, где-нибудь в центре, в кафе, не слишком модном, не слишком дорогом, не слишком шумном... а потом был бар и посиделки до утра на кухоньке Магдиной квартиры. Болтовня ни о чем и наивная надежда, что так будет всегда.

– Даже сейчас ты не слушаешь меня, – с упреком произнес Михаил.

Слушает. Она всегда его слушала. С самой первой встречи. Выставка стеклянных бабочек. Белые стены галереи с утопленными светильниками, черный бархат на кубах-подставках и волшебное разноцветье. Бабочки синие, зеленые, желтые, красные, пестрые со сложными узорами на хрупких крыльцах, с позолотой или вплавленными в стекло камнями, с черными бусинами глаз и длинными проволочными усами,

которые топорщились, отпугивая посетителей.

И девушка-художница в вязаной, волочащейся по полу шали, растерянная и какая-то испуганная, взирающая на посетителей поверх очков с удивлением и явной тоской. Посетители забирали бабочек, а девушке было жаль расставаться с ними.

– Надеюсь, теперь мы все выяснили? – поинтересовался Михаил. – И ты больше не станешь совершать глупостей? Магда обещала, что сама поговорит с тобой. Я надеялся, она сумеет. Вы ведь подруги.

Подруги. Магда не смогла прийти на выставку, и Юленька встретила Михаила. А потом, позже, Михаил встретил Магду, и его расписание изменилось, вытеснив Юленьку на периферию жизни.

К стеклянным бабочкам.

– Это неправильно.

– Что? – он удивился, верно, не ожидая возражений.

– Ты не можешь... ты не имеешь права со мной так поступать!

– Я? Да это ты не имеешь права так поступать! Ты не должна была звонить. – Михаил схватил за плечи и с неожиданной злостью потрянул Юленьку. Она удивилась: никто никогда не позволял себе подобного. – Никаких истерик. Никаких самоубийств. Никаких подброшенных самой себе шкур!

– Это не я! В дверь позвонили и...

– Это ты, – жестко сказал он. – Глупая женская хитрость.

Ты думаешь, что подобным образом можешь вернуть меня? Нет, нет и нет. Я не поддамся. Я приехал лишь потому, что желал расставить акценты.

– Точки ставят над «и». Хотя правильнее было бы над «ё».

Руки больно сдавливали плечи, и у Юленьки появилось острое желание стряхнуть их.

– По-моему, шутки неуместны. Ты делаешь глупости, и эти глупости на тебе же отразятся! Ты посмотри на себя! Кто ты? Прожигательница жизни! Бесплезное существо!

Он злился. Юленька никогда прежде не видела, чтобы он злился, а тут вдруг... или не вдруг? Бисер пота на переносице, замазанный тональным кремом прыщик над губой, белый шрамик на подбородке. И чеканное лицо, которому самое место на монетах, вдруг начало меняться, обрастая ненужными, даже опасными, деталями.

Как собака. Тигровый боксер Павла Егорыча, который в соседнем подъезде обитает. Боксер холен и породист, но при этом слюняв и откровенно подловат, смотрит исподлобья, примеряется, чтобы цапнуть.

– Ты все получала просто так! С самого рождения имела, что захочешь... никогда не пыталась...

Капельки слюны на лице. Противно. А пустота внутри заполняется обидой и вот-вот захлебнется.

– Ты пустота, бабочка...

Стеклянная бабочка с позолотой на крыльях, распластавшаяся на черном бархате. Михаил сожмет руки, и крылья

треснут, рассыплются разноцветными осколками.

— Уходи. Ты... ты мерзок!

Юленька и сама не поняла, как это она решилась сказать такое. И сделать: она отвесила пощечину, резкую, хлесткую и горячую, — ладошка моментально вспыхнула огнем, как когда-то в детстве, когда с велосипеда и об асфальт, сдирая кожу до крови.

— Значит, ты так? — на щеке Михаила остался розовый отпечаток. — Значит, ты кусаешься, маленькая стерва?

Рука сжала горло, перекрывая воздух. И Юленькин крик, готовый сорваться с губ, застрял в горле. Пальцы жесткие, а ногти впиваются в кожу и, кажется, вот-вот прорвут насквозь.

— Так, значит? — он потянул вверх, заставляя подняться и, усмехнувшись, отвесил пощечину. Больно.

— Еще? Конечно, еще. Таких, как ты, учить надо.

Вторая пощечина и жесткий ободок кольца разодрал губы. Юленька хотела вырваться, оттолкнуть, выскользнуть, но не получалось. Он крепко держал. И ткань костюма скользила под Юленькиными пальцами, защищая руки. Не уцепиться, не закричать.

— Учить и крепко. Чтобы помнили. Чтобы знали. Хозяина знали. Избалованная тварь...

Михаил ослабил хватку и, запустив руки в волосы, потянул, заставляя выгнуться. Юленька хотела закричать, но вместо этого из горла вырвался сдавленный сип.

– Ты больше не будешь этого делать, – подтащив к столу, Михаил резко толкнул, нажал, опрокидывая Юленьку в смердящую шкуру. – Ты больше не будешь этого делать...

Когда лицо коснулось лохматого, липкого, воняющего тухлятиной кома, Юленька во второй раз за день потеряла сознание.

Звонить в дверь Магда не стала, да и появившись у нее подобное желание, все равно исполнить его не удалось бы: звонок представлял собой кусок сплавленной пластмассы с торчащими наружу проводами. Да и сама дверь, просевшая, с порезанным дерматином, с торчащими наружу кусками желтого поролона, была приоткрыта. Изнутри тянуло дымом и характерной вонью помещения, в котором давным-давно забыли про уборку. Магда хорошо знала этот запах: переполненное мусорное ведро, гниющие отбросы, банка с рассолом и синими островками плесени, консервные банки и зацветший хлеб. Грязное белье и смердящий мочой матрас...

Все как раньше. Разве что матрас лежал не на полу, а на пружинной кровати, прикрытый сверху желтым покрывалом. А на покрывале, свернувшись калачиком, дремал он.

– Вставай, – Магда переступила через куртку, брошенную поперек порога, и, пнув кровать, повторила. – Вставай!

Он замычал, заворочался, закрыв руками голову, забормotal невнятно. Несло перегаром и сигаретным дымом. Последним не столько от человека, сколько от заполненной

окурками банки, что стояла рядом с кроватью.

– Вставай, скотина.

– М-магда?

Опухшая рожа, щелочки глаз, седая щетина на дряблом подбородке, складочки шеи и волосатая грудь. А когда-то был хорош.

– Магда, водички принеси!

Принесла. Не из жалости, жалеть стигийских псов – глупо, но потому, что в подобном состоянии от данного конкретно-го кобеля толку не было. А ей очень нужно, чтобы он выслушал и, гораздо важнее, понял.

Грязная кухня, стая тараканов на столе, хлеб, осклизлая картошка в рыжем томатном соусе, лужа под холодильником и вторая – под умывальником.

Ничего не меняется. И прежде колено подтекало, и влага, собираясь на цементном полу, стекала к батарее. И раз в неделю прибегала Нюрка, орала с порога, грозилась милицией и ЖЭКом, обкладывала матом и оплакивала гибнущие обои...

Магда, вздрогнув, отогнала неприятное воспоминание. Ушло, все ушло, и Нюрка с ее обоями и скандалами, и тараканы по потолку и косякам, и серый крыс, который изводил лишь ее, словно наравне со всеми ощущая слабость.

– Спасибо, – он схватил стакан обеими руками. – Ты настоящий ангел...

А он – пес. Старый стигийский пес, которого пора бы на

живодерню, и рано или поздно он туда попадет.

Магда, выбрав стул почище, присела.

– Сделал?

– А? Да, да, сделал. Как сказала, сделал. И бантик... во прикол, я бант прицепил.

– Какой бант?

– Розовый. Ленточка. Бант, – он облизал потрескавшиеся губы. – Она открывает, а там...

– Хорошо. Молодец. А со вторым пунктом как?

– Норма! Магдуль, а ты – хищница...

С волками жить – по-волчьи выть, а с собаками – по-собачьи. И чего удивительного в том, что она научилась? И выть, и скулить, и притворяться человеком.

– Магдуль, а чем она тебе не угодила-то?

– Не твое дело. Слушай, что ты сделаешь сегодня.

– Голову? – Он сел на кровати и пружины громко скрипнули. Он, не глядя, сунул ноги в тапочки и, раззявив пасть, рыгнул.

– Кроме головы. Вот, – Магда вынула из сумочки конверт. – Здесь пятьдесят... евро.

Как же вспыхнули глаза. Жадно, выдавая, что он согласен. Не знает, что нужно сделать, но уже согласен на все, лишь бы добаться, лишь бы дотянуться до белого конверта и купюр в нем.

Стигийские псы – жадные существа. И это хорошо.

– Еще столько же получишь после... А теперь слушай. Ты

должен проследить за ним. Узнать, чем он дышит. Встречается ли с ней. Если да, то где и когда.

– Слушай, Илья, ты можешь приехать? – Дашкин голос был странно напряжен, не зная он сестру, подумал бы, что та в шоке. Но шокировать Дашку невозможно. – Пожалуйста!

Или возможно?

– Илья... нам очень надо! Очень.

– Куда ехать?

Слышать ее такую было невыносимо. И оставаться в кабинете, дожидаясь визита старухи Выхиной, которой придется врать и, значит, оправдываться, желания не было.

– Я... я вчера тебе про Юльку говорила. Помнишь? Нет, Илья, сейчас другое... сейчас действительно случилось.

И Дашка всхлипнула в трубку.

– Адрес давай.

Дашка продиктовала.

Дом-линкор, серая громадина старого корабля в порту новостроев. Узкие окна-бойницы, ласточкины гнезда балконов, вызывающе неряшливых и огромных, щетина антенн на крыше и глянцевые табуны иномарок на асфальтовом поле вокруг. Редкие пятна зелени тонули и пылились, отторгались этим обжитым до нежизнеспособности пространством.

Машину Илья припарковал свободно. И нужный подъезд отыскался сразу: чистый, остро пахнувший хлоркой и лимо-

ном, с выщербленными, вытертыми до блеска ступенями и пластиковым фикусом в пластиковой же кадке между третьим и четвертым этажами.

А вот и нужная квартира. Дверь открыла Дашка и, чмокнув в щеку, сказала:

– Мог бы и побриться.

Мог. Наверное. И кажется, даже брился, но это было вчера. Или позавчера? Илья провел по щеке, удивляясь тому, откуда взялась щетина, а Дашка, вцепившись в руку, тянула за собой.

– Идем... Нет, Илюх, я все понимаю, но чтобы вот такое скотство!

Квартира была огромна. Коридор-труба с вытянувшимися вдоль стен полками. Старый ковер, заглушающий шаги. Запертые двери. Тени и пыль.

– Как в музее, да? Ты еще ее бабушку не застал! Вот это был экспонат! – Дашка, нажав на ручку в виде русалки, открыла дверь. – Юлька, знакомься, это Илья. Илюх – это Юлька. Ты как?

Вопрос адресовался явно не ему, и Илья, воспользовавшись секундной заминкой, огляделся. Комната как комната. Кровать, стол, стул, кресло, шкаф и ковер на полу. Правда, видно, что ремонта здесь давно не делали и что мебель старая, если не сказать древняя. И что, по-хорошему, ковер не чистить, а менять надо.

– Ты... ты посмотри, что с ней сделали! Это ж какой ско-

тиной надо быть, чтобы вот так... Ты посмотри, посмотри! – Дашка шептала и подталкивала в плечо, как когда-то в детстве, когда очень хотела заглянуть в темноту подвала, но сама переступить через порог не решалась.

– Она же такая... безобидная. Блаженная. Мы ее вообще поначалу чокнутой считали, а она...

Она сидела в старом кресле, забравшись в него с ногами, и смотрела прямо перед собой. Она не выглядела ни безобидной, ни блаженной – обыкновенная. Но уж точно не старая дева.

– Привет. Я – Илья, ты меня помнишь?

Кивок. Рассеянный взгляд, и тут же, словно спохватившись, ручка прикрывает разбитые губы. Над верхней родинка. Или нет, скорее это засохшее пятнышко крови.

Илья разглядывал ее, ничуть не стесняясь собственно-го любопытства. Куколка – инфанте – вечное дитя. Пухлые щечки, вздернутый носик, пусть распухший и покрасневший, но все равно миленький, подбородок с ямочкой, серые глаза, пушистые ресницы.

Только кожа неестественно покрасневшая, но все равно Юленька слишком уж сладкая, слишком непохожая на Алену.

– Юлька, расскажи. Давай, не тани, Илья поможет. Ты же поможешь?

И еще один тычок в бок, чувствительный, заставивший поморщиться и согласиться.

– Помогу.

– Он поможет. Он в милиции работает.

Пожалуй, впервые Дашка сказала это с гордостью, а не пренебрежением.

– Не надо милиции. Я не хочу в милицию. Пожалуйста.

А голос у Юленьки не детский, глубокий, грудной, с прямыми нотами хрипотцы.

– Кто вас избил?

И за что? Юленьку именно этот вопрос не отпускал: за что? Что она такого сделала, чтобы Михаил, ее вежливый, воспитанный Михаил, вдруг позволил себе подобное?

Она очнулась на полу собственной кухни. Ныла затекшая рука, а по лицу ползала муха. Щекотно. И мокро. Мокрое было на коже, и Юленька как-то сразу вспомнила, что с ней случилось.

Она не знала, откуда взялись силы подняться и отправиться в душ, под которым она простояла без малого час, растирая лицо жесткой банной губкой, намыливая и смывая. От мыла ли, попавшего в глаза, от обиды ли – но слезы катились градом, и в конце концов Юленька почти ослепла. И из ванной комнаты выбиралась на ощупь, и в коридоре, неловко повернувшись, смахнула с полки вазу, которая разлетелась вдребезги, а Юленьке стало вдруг плевать на то, что с вазой случилось. И вообще на все-все плевать.

Кажется, она забралась в кровать и просто лежала... А по-

том? Что было потом? Откуда взялась Дашка и этот тип, что беспокоит Юленьку своими вопросами? Какая ему разница, кто сделал? Пусть бы лучше ответил: за что?

– Ее дружок, – встряла Дашка и, присев на пол, взяла Юленькину руку. Ладони у Дашки теплые, и пальчики тонкие, хрупкие, такие легко сломать.

Нехорошие мысли.

И у Ильи нехороший взгляд. Жесткий. И сам он тоже жесткий, как бабушкин воротничок из кружева, который Зоя Павловна вываривала в крахмале и заутюживала, пока тот не становился твердым, словно сплетенным из белой проволоки.

– Она мне сама рассказала! Сволочь! Скотина!

Надо же, а Юленька не помнит, чтобы кому-нибудь рассказывала. Нет, она бы не стала говорить, ведь стыдно же... Тогда откуда Дашка узнала? Откуда она вообще появилась здесь?

– Я ей позвонила. Ну просто позвонила, не смотри ты так! А она в слезах. И... Илья, сделай что-нибудь!

Пожалуйста. Юленька мысленно присоединилась к горячей просьбе. Пожалуйста, Илья-брат-Дашки-Лядащевой-на-нее-совсем-не-похожий, сделай что-нибудь, чтобы время вернулось к утру, к тому моменту, когда жизнь казалась рухнувшей. Но тогда в руинах не было ни собачьей шкуры, ни Михаила, ни Юленькиного нынешнего непонимания.

– Даш, сходи на кухню, сделай чаю. А мы поговорим.

Правда?

Юленька кивнула. Да, она поговорит, ей очень нужно поговорить с кем-нибудь, пусть даже с этим странным человеком, который неизвестно как попал в ее квартиру.

А еще говорят, будто дом – это крепость. В Юленькиной крепости ворота открыты всем.

Дашка вышла, прикрыла за собой дверь и исчезла, оставив Юленьку наедине со своим братом. А тот не спешит задавать вопросы, разглядывает. И Юленька, в свою очередь, разглядывает его.

Блеклый. Человек-рыба, как сказала бы бабушка, и добавила, что рыбы тоже разными бывают. К примеру, яркие телескопы с пушистыми хвостами, или юркие гуппи, или даже солидные, в кольчужной чешуе карпы. А Илья – рыба глубоководная и потому невзрачная до отвращения. Бледная кожа, белесые волосы, неестественно светлые глаза не пойми какого цвета: то ли серый талый лед, то ли блеклая осенняя синева. Только ресницы и брови неожиданно темные, словно крашенные. Юленьке вдруг захотелось спросить: вправду ли крашенные, вдруг человеку-рыбе надоела его невыразительность.

– Так кто это сделал? – повторил вопрос человек-рыба. – И что именно он сделал?

Юленька заговорила. Нет, не потому, что прониклась вдруг доверием, и не потому, что хотела пожаловаться. Скорее уж эти глаза, чуть навывкате, чуть в тени длинных ресниц,

замерзали. Нельзя им врать и нельзя замалчивать факты.

К собственному удивлению, излагала она внятно и спокойно, вспоминая детали и даже – что и вовсе невероятно – не испытывая больше отвращения к тому, что случилось утром.

– Значит, шкура? Собачья?

– Черная, – уточнила Юленька. – Грязная. И воняет.

И решившись, задала мучавший ее вопрос:

– За что он так?

– Не знаю, – честно ответил Илья. – Но обязательно выясню. У тебя номер его имеется? Или подружки твоей?

Конечно, номер имелся. Вот только Михаил вряд ли захочет разговаривать с человеком-рыбой...

В ресторане оплывали свечи, скулила скрипка, блестела капельками влаги бутылка шампанского. Белые орхидеи, лед, черная посуда. Хрусталь и серебро. Уровень.

Михаилу нравилось это заведение. Не кухней, не обслуживанием, но самой атмосферой достатка и степенного, неторопливого течения жизни. И не просто жизни, но именно такой, которой он, Михаил, заслуживал. Он мечтал о ней, пусть и не с детства – тогда, вот же глупость, он умудрялся довольствоваться малым, искренне веря, что не в деньгах счастье, – то уж с голодной, завистливой юности.

Да, именно тогда Михаил понял, что жизнь – она разная бывает. У одних вот такая, глянцевая, нарядная, искусствен-

но избавленная от острых деталей быта и бытия, очищенная от грязи, рафинированная и дезодорированная. У других – серая, вязкая, как машинное масло, что выдают за подсолнечное, воняющая и оседающая в крови избыточным холестерином, вымыть который можно лишь избыточным спиртом.

Но уж никак не бокалом французского коньяка.

Да, сейчас он мог себе позволить и коньяк, и сигары, и галстуки ручной работы, и презрение к тем, кто менее удачлив.

– Привет, – Магда, опоздавшая на десять минут, коснулась губами щеки. – Извини. Пробки.

– Конечно.

Михаил извинил, ему нравилось быть великодушным. И Магда нравилась. Пожалуй, он даже любил ее настолько, насколько мог позволить себе поддаться чувствам.

– Как дела? – Она открыла меню и, сдвинув очки ближе к переносице, принялась изучать, хотя Михаил мог поклясться, что Магда знает каждую строчку, каждую запятую, каждую чертову цифру в этой папке. И уж точно знает, что будет заказывать, но ритуал требовал танцев, и Магда послушно танцевала.

Она вообще очень послушная девочка.

– Замечательно. Сегодня разговаривал с твоей подругой.

Не нужно было упоминать, тем более что разговор вышел не совсем таким, каким планировалось. Он сорвался, снова

позорно сорвался и снова не жалел, ибо в крови гуляло еще хмельное послевкусие совершенного.

– Зачем? – Магда отложила меню. – Я с ней разговаривала. Она все поняла правильно. Или... она тебя шантажировала? Чем угрожала? Самоубийством?

– Почти.

Какая разница чем, главное, что угрожала, осмелилась пасть открыть. И тогда он ударил. Господи, как же давно он хотел сделать это... Нет, не в Юленьке дело, а вообще в таких вот, ей подобных, с раннего детства в теплице растущих и поглядывающих оттуда, из-за стекла, на других с презрением. О да, теперь никто не посмеет его презирать!

И Магда, скажи ей, поняла бы. Она одной с ним крови. Магда – хороший выбор. Только вот ей знать не обязательно.

Взмах руки, официант, шепот. И хрусталь, и свечи, и скрипка... И Михаил забудет о никчемушной Юленьке, в нынешней его жизни нет для нее места.

Ее и в прошлой-то не было. Он просто... просто переиграл одну старую историю. Тогда бросили его, теперь – он. Равновесие.

– Михаил, не нужно ее трогать. Оставь.

Магда сказала это очень мягко, но вместе с тем так, что не оставалось сомнений – это не просьба. И вот же, вместо того чтобы возмутиться и поставить Магду на место, Михаил совершенно спокойно ответил:

– Да, дорогая. Как скажешь.

В конце концов, ему это не будет стоить ровным счетом ничего.

– Спасибо...

Домой Михаил возвращался далеко за полночь и в расположении духа превосходном, таком, которое позволило получить удовольствие от недолгой прогулки по двору. Узкий и длинный, с азалиями, шатровыми вязами и светло-золотистыми декоративными елями, он служил очередным подтверждением высокого уровня жизни. Такой двор не каждый может себе позволить.

Такой двор нужно заслужить.

– Ты Шульма будешь? – Тень вынырнула откуда-то слева и, нагло заступив дорогу, повторила вопрос: – Михаил Шульма?

– Ну я.

Михаил подумал, что, пожалуй, не помешает кликнуть охрану. Что, пожалуй, у него достаточно врагов, чтобы подобная встреча обернулась серьезными неприятностями. И такие неприятности могут привести на кладбище.

И в подтверждение предчувствий в бок уперлось что-то жесткое, весьма характерной формы, а человек-тень велел:

– Тихо. Идем.

– Куда?

Не ответили, но подтолкнули, направляя. Заорать, по-

звать на помощь, оттолкнуть или отпрыгнуть, всего-то шаг в темноту, а то убьют! Теперь-то сомнений не осталось, теперь-то ясно, что тип этот, совершенно незнакомый Михаилу, пришел, чтобы убить. И понимание парализовывало.

– Орать не советую, – предвосхитил события незнакомец. – Давай, шевели ногами. Поговорить надо.

Поговорить... врет. Все врут, и сам Михаил не однажды говорил то, что собеседник хотел услышать. Ложь – как оружие. Оружие в руках, за спиной, за душой, которая вот-вот отлетит.

Нельзя выходить со двора. Нельзя было. Но поздно.

Какой-то закоулок, близкий и меж тем непередаваемо далекий, вынырнувший из прошлой общажной жизни вместе с вонью и грязью, мусорными баками, раздувшимися, разошедшимися по швам с вываливающимся в щели содержимым. С блеклым пятном фонаря, единственного источника света. С бродячим псом, оскалившимся при виде людей, и с черной тенью-кошкой, что бросилась под ноги, заставив Михаила непроизвольно шархнуться.

– Стой. Да не дергайся ты, – сердито отозвался тот, кто шел сзади.

– Кто ты такой? Чего тебе надо? – страх вдруг изменился, сделавшись из парализующего, отбирающего силы яростным. – Ты знаешь, кто я такой?

– Подонок, который способен ударить женщину.

И после этих его слов сразу отлегло.

Юля-Юленька-Юла. Защитники и рыцари, щиты и копья в честь дамы. И ночные налеты с угрозами, но, слава богу, дальше угроз дело не станет. Слава богу, рыцари не бьют в спину и точно не убивают. А значит, можно договориться, отделаться малым, в конце концов, все мы люди.

– Все мы люди, все мы человеки, – совсем иным тоном сказал Михаил и, сунув руки в карманы, сжал кулаки. Успокоиться. Унять нервную дрожь, сосредоточиться и послать этого заступника подальше. – Я вышел из себя. Обернуться можно?

Обернулся, не дожидаясь разрешения, уже уверенный, что этот странствующий рыцарь не выстрелит, уже уверенный, что и стрелять-то ему не из чего – оружие небось игрушечное.

– И чего ты хочешь? Чтобы я извинился? Цветы послал? Открытку «прости дорогая, был не прав»? Пошлю.

Так все-таки игрушечный у него пистолет или настоящий? И откуда вообще он такой, заступник, объявился? Из бывших поклонников? Или из будущих, пытается храбростью очки набрать?

А ему нужны, ибо уныл и невзрачен. Серый человечек, каковых в толпе каждый второй, если не каждый первый. Дешевка.

– Хочу сказать, чтобы ты больше не приближался к ней, – голос с ломкой детской хрипотцой, которая в любой момент сорвется или на сип, или на визг. – И шутки свои прекратил.

Нехорошо собак резать, гражданин Шульма.

Гражданин? Это сродни товарищу. Это уравнивает, позволяет бледной немочи вскарабкаться на одну ступеньку с Михаилом, создать иллюзию того, что все люди – братья.

Побратимы в пролетарских надеждах, которые большими буквами написаны на этой роже.

– Резать? Собак? Вы меня с кем-то путаете, – а тон выбран правильный, холодный и уверенный. Этих только так и дрессируют. Эти должны сразу понимать, кто здесь хозяин. – Собак резать – мелкогато. И грязно. А я грязи не люблю. И еще не люблю тех, кто сует свой нос в мои дела, ясно? И если вы, молодой человек, хотите еще что-то сказать, то говорите. Я слушаю. Пока слушаю, но скоро мне надоест.

– Сволочь ты.

– Я? А вы кто? Между прочим, угрожать уважаемому человеку – тоже нехорошо. Опасно, я бы сказал.

Пролетарскую рожу перекосило пролетарской яростью, а рука с пистолетом дернулась, дуло скользнуло по пиджаку, но тут же опустилось, признавая поражение стрелка.

Хотя какой это стрелок? Разве что в тире, по банкам и деревянным зверушкам, а на что-то большее смелости не хватит. Потому они и копаются в дерьме от рождения до смерти, потому как дрожат, трусят, когда дело доходит до чего-то более серьезного, чем пламенные разговоры о несправедливости жизни.

А жизнь, она еще как справедлива. Каждому по способ-

ностям.

– Убирайся, – прорычал рыцарь, отступая в тень, к мусорным бакам и бродячему псу, туда, где самое ему место.

– Нет, молодой человек, это вам лучше бы уйти. Так и быть, сегодняшнюю выходку вашу я оставляю без последствий. Считайте, я вас простил. Но крайне не рекомендую повторять, ибо в таком случае я буду обязан...

Звук выстрела, отраженный стенами дома, оглушил; боль – отрезвила, а осознание грядущей смерти ввергло в панику.

Он не должен был стрелять! Он не имел права! Не здесь, не в грязи, не... Асфальт холодный, и тряпкой на нем – банановая кожура.

Наша больница была не так велика, но не так и убога, как думалось Вецкому. Созданная при монастыре лет пять тому назад, она успела обрести определенную известность в округе, чему в немалой степени способствовало время, в котором нам выпало жить. Да, война, каковая поначалу казалась нелепой – сколько той Японии, – тянула силы из страны, пожирая мужчин, обездоливая женщин. Голод, разруха, беспомощность, некая всеобщая парализованность, словно бы каждый чуял грядущую катастрофу, ее неотвратимость и в предчувствии терял возможность сопротивляться.

Верно, за это я и любил матушку Серафиму, за характер ее бойцовский, за дух, который позволял противостоять

ять всему и вся, идти выбранным путем, невзирая на трудности. И вот диво – в монастыре силами монахинь находилось и зерно, и картошка, и морковка с луком, было по скромным дням и мясо со скотного да птичьего дворов. Худо-бедно, но топились печи, имелись в наличии и простыни, и перевязочный материал, и кой-какие лекарства, многие из которых заменялись травяными сборами из монастырского же сада. Но главное, что здесь, за старыми стенами, была жизнь.

– Егор Ильич, Егор Ильич! – Марьянка, подняв подол, скакала по сугробом. Нынче дня три кряду снег валил, плотно, густо, засыпав и двор, и окрестности. – Егор Ильич! Рожают!

Она выдохнула последнее слово и зарделась. Марьянка у нас стеснительная и скромная, но с характером – работает в больнице наперекор батюшкиной воле, по собственному почину.

– Сенька рождает!

Я только и успел подумать, что рановато ей, что еще б месяца два доносить, но тут же сорвался в бег, задыхаясь на холоде, но торопясь – всякий раз чудилось, что не успею, не помогу, не спасу, хоть бы и знал, что роды – дело неспешное, а все равно.

Успел, правда, не спас – слаба она была, молода слишком для родов, да и чахоточна. Говоря по правде, Сенькину судьбу в первый же день определил Вецкий, сказав:

– Еще одна покойница.

И Софья тогда на него еще посмотрела так... выразительно, а как даже не знаю, ибо почудилось, что во взгляде ее одобрение мелькнуло. Но почудилось, ведь именно Софья от Сеньки не отходила, выпрашивая, подбадривая, успокаивая...

Вышло, что прав Вецкий, Сенька, тринадцатилетняя беременная Сенька, умерла родами, и младенец ее, мужского полу, на свет мертвым появился.

Ненавижу такие дни.

– Видите, Егор Ильич? – Софья отошла от залитой кровью постели к крохотному окошку, вытерла руки о халат, оставляя красные пятна, каковые потом ни щелочью, ни жирным, самосваренным мылом не отстираются, так и останутся на халате застарелым узором в дополнение к уже существующим. – Видите, что происходит?

– Это случается. К этому привыкнешь.

Моя очередная ложь, потому как знаю – привыкнуть невозможно, сколько лет работаю, а все равно не могу принять, когда они уходят. Но Софьюшке знать не надобно, Софьюшка нужна и важна для больницы, и если сейчас, словившись, она отступит, то без ее помощи и поддержки оборвется гораздо больше жизней.

– Нет, Егор Ильич, я не о том, – отмахнулась, подняла руку, чтобы перекреститься, и со вздохом опустила. – Я о том, что вокруг происходит! Почему они позволяют это?

– Кто?

– Власти! Почему не прекратят? Она же ребенком была... за кусок хлеба... Егор Ильич, почему в этой стране о нищих заботится бог, а не государство?

– Не знаю, Софьюшка, – и тут говорю сущую правду, я никогда не задумывался о политике, ибо та виделась мне делом сложным, отрешенным от жизни, но в то же время опасным.

– Не знаете! Не хотите знать! Даже вы, Егор Ильич, отказываетесь смотреть дальше!

– Куда смотреть, Софьюшка? – Я закрыл мертвые глаза несчастной девочке, перекрестил ее, прося у Безымянного милости, а следом, повинуясь внезапному порыву, произнес и имя той, языческой богини, что держит плетъ в руках своих. Кажется, она и роженцам покровительствовала, так пусть уж позаботится.

– Дальше вот этого! Вот ее! Вот больницы! Матушки Серафимы! На страну посмотрите! Народ нищенствует, народ обессилен, а чиновничье жирует. Помните, на той неделе приезжал?

Как не помнить, имя вот из головы вылетело вместе с должностью, но в остальном: вороная тройка, расписные сани, толстый, неповоротливый человек в медвежьей шубе, от которого человек выглядит еще более толстым, более неповоротливым. Хмурый кучер, остроносый чинуша из тех, что помельче, – этот трясся, кутаясь в бараний ту-

луп и что-то быстро говорил, да так, что я ничегошеньки не понял.

Матушка отвечала сначала спокойно, потом, побагровев лицом, налившись вовсе не смиренным, не христианским гневом, уже кричала, потрясая кулаками, рассыпая по двору проклятья, от которых чинуша приседал и суетился еще больше. А тот, второй, толстый, лишь изредка кивал, не то соглашаясь, не то просто отрешаясь ото сна.

— Им все бы тянуть... тянут и тянут, кровососы. А чтобы дать, чтобы помочь, поддержать... — сухие кулачки Софьи уперлись в стену. — Это от безразличия, Егор Ильич, просто всем все равно и...

— И что прикажете, Софьюшка?

— Делать! Что-нибудь делать! Пробудить, разрушить...

— Бомбы, значит. А вы, милая, когда-нибудь думали, что бомбисты убивают вот таких, как она? Что бомбе безразлично, под кем взрываться? Что на одно покушение, которое считают удачным, приходится с десяток таких, какие просто губят людей? Вам хочется еще больше крови?

— Да, если это поможет. Лучшие малая кровь сейчас, чем большая после...

— Софьюшка, милая, запомните, никогда ни одна революция не обходилась малой кровью. Революция — та же война, согласные против несогласных... только несогласные своей крови, а потому и куда как более люты. Берегитесь благодетелей, Софьюшка, а коль хотите что-то изменить, то

делайте то, что умеете.

— Вы... вы так ничего и не поняли! — глаза ее полыхнули гневом. — Я надеялась, что... я думала... а вы!

Она сорвалась и, подхватив юбки, сбегала, только дверью хлопнула. Вот глупая девочка, надо бы матушке сказать, чтоб поговорила, а то, не приведи господи, свяжется с революционерами, и тогда прямой путь на каторгу.

А может, права она? Может, от бездействия нашего беды все? От слепоты?

Об этом я думал и остаток дня, и вечер, что накатился по-зимнему внезапно, растекиись густой чернотой по двору, по покоям, по моей давно обжитой, несмотря на наличие квартиры в городе, келье. Острее стало одиночество, злей обида на Сеньку, что так глупо умерла, не сумела зацепиться за жизнь, а вероятно, и не хотела цепляться... Я думал об этом, когда засыпал.

И проснулся в храме своем, пустом и безмятежном, том, где покой обитает и мир, где коптят чаши беззвучным пламенем, и лежат послушные псы, только хвостами виляют и морды тянут, ласку выпрашивая. У крайнего морда ну точь-в-точь Вецкий, а рядом и псица, худлявая, строгая — Софья.

Снова, как в прошлый раз, Геката сошла по ступеням. Теперь в одной руке ее пылал факел, в другой виднелся ключ. Его она мне и протянула.

Беру. Просыпаюсь. Вновь в поту, в горячке, с привкусом

дыма на языке, с теплым металлом в руке. Кочерга? Я заснул с кочергой? И привидится же... Права Марьянка, надо больше отдыхать, а то сам себя накручиваю – и потом мреещится всякое.

Заснуть с кочергой... откуда я ее приволок? В комнатушке-то ни печи, ни камина... стены вымерзли до инея. И пальцев на ногах не чувствую, руки, впрочем, тоже занемели. А мысли, мысли-то путаются, мешаются.

Устал. Замерз. Бежать. Куда? А так ли важно, главное, что прочь отсюда, подальше от нищих и убогих, жаждущих и страждущих, спаситель завтра не придет.

Нет, нужно успокоиться. Я не спаситель, я просто-напросто врач, который делает то, чему его учили, а остальное не так и важно.

Да, не важно.

Искушающие искушают, искушаемым остаются муки выбора, но свой-то я давно сделал и менять не собираюсь.

Юленька снова не могла заснуть, она лежала в кровати, разглядывая потолок, отсчитывая вместе с будильником минуты очередной бесконечной ночи. А потом будет бесконечный день. И снова ночь. В этом чередовании не было смысла. И в Юленькиной жизни тоже не было смысла.

Прав Михаил, никчемушная она. И всегда никчемушной была.

– Глупости все это. Чушь. Отстань от девочки, – бабуш-

кин скрипучий голос наплывает из темноты, а следом – постукивание ложки о край тазика и бульканье черной массы, которая то вспухала розовой пеной, то вдруг затихала, чтобы спустя мгновение выпустить огромный пузырь.

Пахнет давленным чесноком, перцем, молотым кориандром и сыпким тмином, Зоя Павловна ловко втирает приправы в белую куриную тушку, а бабушка, сидя в углу кухни, курит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.